К. СИМОНОВ

ОТ ЧЕРНОГО ДО БАРЕНЦОВА МОРЯ

ЗАПИСКИ
ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1942

ОТ АВТОРА

В эту книжку вошли очерки, написанные за семь месяцев войны. Автору ее, в качестве военного корреспондента «Красной Звезды», пришлось объехать сначала Западный, потом Южный фронт, потом Карельский и снова побывать на Западном и Южном фронтах.

Хронология очерков требует некоторых пояснений. Очерки «Завоеватели в плену» — это из одесских записей конца августа. Крымские очерки — «Смерть за смерть» и «Шпионка» — это очерки о первых боях за Крым в конце сентября. «Последняя ночь» и «Предатель» — это снова Крым, но уже в декабре 1941 года и в январе 1942 года, это наше возвращение в Крым.

Очерки, посвященные Западному фронту, хронологически разорваны на две части. Первый из этих очерков относится к июню и июлю, двум самым тяжелым на Западном фронте месяцам войны — к дням нашего отступления. Два последние очерка — «Дорога на запад» и «Июнь—декабрь» — это результат

поездок по Западному фронту через большой промежуток времени, уже в декабре 1941 года. Это свидетельство громадных и радостных перемен, происшедших здесь за эти месяцы. Это наше наступление на запад по тем самым дорогам, по которым мы в июне и в июле отступали на восток.

Северные очерки по времени относятся к октябрю и ноябрю. Крайний северный участок Карельского фронта — Мурманск, Полярное, Рыбачий и Средний полуострова — вот места, в которых разворачивается действие этих очерков.

Все помещенное в книжке распределено не по хронологическому, а по географическому принципу. Мне казалось интересным показать весь огромный фронт Отечественной войны, во всей его колоссальной протяженности, в той мере, в какой мне, как военному корреспонденту, удалось его наблюдать. Очевидно, настоящие книги, большие книги об этой великой войне напишутся потом, когда мы сможем оглянуться и с какого-то расстояния увидеть все сразу глазом художника. Пока же все напечатанное здесь — это часто отрывочные и неполные записи о деяниях, свидетелем которых я был, и о людях, с которыми я встречался.

У БЕРЕГОВ РУМЫНИИ

Маленький буксир, пыхтя, открыл перед нами боновую сеть, преграждавшую выход из бухты. Наша подводная лодка уходит в дальний поход от берегов Крыма.

За время войны она в седьмой раз пересекает Черное море. Три далеких и трудных похода за плечами у командира лодки.

На корпусе лодки видно несколько вмятин и пробоин, верхние стекла рулевого телеграфа потрескались от осколков, — это следы вражеских снарядов. Сейчас она опять выходит из бухты, взяв курс на юго-запад, к далеким румынским берегам.

Незадолго до полуночи привычные глаза сигнальщика замечают на черном горизонте

еле видный силуэт корабля. Над нами в небе коротко вспыхивают ракеты. Свои! Эсминец возвращается на базу после огневого налета на румынские войска, осаждающие Одессу.

Ровно в двенадцать часов ночи на лодке начинается ужин. Кушают здесь порознь, каждый в своем отсеке, у своего боевого места. Несколько отсеков, разделенных непроницаемыми переборками и герметически закрывающимися люками. Лодка должна быть живучей, люди — готовыми ко всяким случайностям. Закон подводника — в ту секунду, когда глубинная бомба разорвется около лодки, разодрав обшивку в одном из отсеков, когда в отверстие с грохотом хлынет вода, люди не бросятся к люку, чтобы, спасая свою жизнь, проскочить в соседний отсек. Этим они могут погубить всю лодку.

Нет, вахтенный отсека, когда хлынет вода, изнутри задраит люк, и люди будут отстаивать свою жизнь внутри своего наглухо закрытого отсека. Они пустят сжатый воздух, стараясь задержать воду, они попытаются задраить пробонну, но, если это не удастся, они молча погибнут, ценою своей жизни спасая всю лодку. Вот что значит отсеки с герметически запирающимися люками, вот что значит воинская честь и боевой закон подводников.

Сменялись дни и ночи. Лодка, пересекая

море, шла под перископом, только на несколько часов всплывая по ночам. В перископ была видна вода, без конца вода. Волны, перелетая через перископ, на секунду закрывали горизонт непроницаемой зеленой полосой, и опять в поле зрения маячили бесконечные белые барашки волн. Море было пустынно.

Внизу, в крошечной штурманской каюте, над огромной навигационной картой сидит штурман Быков. Лодка должна выйти к берегу точно в назначенное место и точно в срок. Штурман сутками сидит над картой, не разгибая спины. Но вот, наконец, в который раз подняв перископ, командир приказывает записать в вахтенный журнал долгожданную фразу: «Прямо по курсу берег».

Румынский берег. Сейчас он еще маячит на горизонте еле видной полоской, но скоро мы подойдем к нему ближе, гораздо ближе, чем могут предполагать сидящие там наблюдатели береговых батарей и курсирующие вдоль берега немецкие самолеты. Лодка подойдет вплотную к берегу и начнет выполнять задание, которое она получила.

Стрелки на часах подходят к четырем; я вижу в перископ румынский берег. Теперь он кажется совсем рядом — обрывистые склоны гор, осыпи камней, прилипшие к скалам домики.

Наступает новая ночь. Мы обшариваем гавань; с мостика видно, как то справа, то слева показываются на берегу огни. На море штиль, тишина.

Мы часами идем без перископа на большой глубине. В лодке душно, с непривычки тяжело дышать. Но эти часы глубокого погружения — в то же время редкие часы отдыха. На лодке тишина, стараются меньше говорить и двигаться, чтобы не поглощать лишнего кислорода.

Только здесь, в напряженном ожидании, запертый в тесном отсеке, понимаешь по-настоящему, что такое дисциплина и дружба. Теснота, все заполнено тысячею приборов, все рассчитано на сантиметры, нельзя сделать лишнего движения.

В кают-компанию входит командир. Он садится и жадными глотками пьет кофе.

— Все! — в первый раз за время похода говорит он. — Все, что нужно, обшарили, возвращаемся!

Он закрывает темные от бессонницы глаза и через секунду уже спит здесь же, у стола, прислонившись головой к стене. Осторожно лавируя в узком пространстве, тихо проходят мимо него на вахту подводники.

Через сутки мы уже идем в открытом мо-

ре, начиная удаляться от румынских берегов. Светает, но берег сравнительно далеко, и можно не спешить с погружением. Вахтенный командир Велиженко вглядывается в горизонт. Он долго смотрит в одну, только ему видимую, точку и вдруг говорит, повернувшись к командиру:

— На горизонте силуэт корабля!

Командир на секунду вскидывает к глазам бинокль и резко командует:

— Срочное погружение!

Находящаяся наверху вахта, мгновенно скользнув на руках, по трапам скатывается вниз. Звенит сигнал погружения. Когда командир, сходящий с мостика последним, задраивает у себя над головой люк, лодка уже почти погрузилась, вода доходит до мостика. Через несколько десятков секунд над водой остается только черный глаз перископа.

Внутри, в центральном посту, командир напряженно смотрит в перископ.

— Запишите в вахтенный журнал, — диктует он: — румынское судно. — И после паузы командует рулевому: — Лево на борт, курс триста пять!

Лодка резко меняет курс. Теперь она идет прямо на судно. Но силуэт в перископе виден все слабее. Ход корабля оказывается быстрей подводного хода лодки.

Еще несколько минут, и он скроется из виду.

— Приготовиться к всплытию! Орудийный расчет, наверх!

Лодка всплывает. Теперь с мостика в бинокль хорошо видна удаляющаяся точка на горизонте. Лодка прибавляет ход, но точка начинает увеличиваться на горизонте слишком медленно.

Судя по быстрому ходу, это, видимо, какое-то румынское вспомогательное военное судно. Нам его удастся догнать у самого берега. Погоня уже длится полтора часа, уже виден корпус судна, но расстояние все еще большое.

— Будем бить с этой дистанции, — решает командир.

Расчет становится к орудию. Старший помощник дает последние указания наводчикам и командует:

— По кораблю противника — залп!

С грохотом летит тяжелый снаряд. Через двадцать секунд у правого борта румынского судна взлетает водяной столб.

— Семь влево! Залп!

Снова выстрел, но мы ждем двадцать, тридцать, сорок секунд, а нового водяного столба рядом с судном не видно, над ним только сильнее становится дымный след.

— Залп!— в третий раз командует старший помощник.

Но в ту секунду, когда рассеивается дым от выстрела, оказывается, что на горизонте пусто, ничего нет. Через двадцать секунд там, где только что был корабль, взлетает водяной столб третьего снаряда.

Судна нет. Теперь объясняется отсутствие водяного столба после второго выстрела. Редкий в артиллерийской практике случай: прямое попадание со второго залпа.

Лодка продолжает итти полным ходом к месту потопления. На воде — ни одного обломка. Лишь большая стая чаек кружится в стороне над успокоившейся водой. Командир кладет лодку на прежний курс. Наблюдатели особенно внимательно следят за горизонтом.

Судно, погибая, могло успеть радировать немецким самолетам. Проходит полчаса, час, и в начале второго часа стоящий у своего зенитного пулемета наблюдатель Ковалинский коротко докладывает:

— Слева сто шестьдесят — самолет!

Снова срочное погружение, стрелка глубиномера стремительно прыгает от цифры к цифре: 5—10—15—20—25 метров. Все ждут. Заметил или не успел заметить нас самолет? Если успел, то сейчас где-то недалеко от нас начнут рваться глубинные бомбы.

Но под водой все тихо. Пятнадцать минут, полчаса. Попрежнему тихо. Значит, не заметил. Мы всплываем. Уже ночь. Еще ночь и день хорошего хода, и мы будем у своих берегов.

Четвертый поход окончен так же удачно, как и три предыдущих. Завершен еще один будничный эпизод из жизни подводников, скромных, спокойных и страшных в бою людей, воюющих с врагом за наше русское Черное море.

ЗАВОЕВАТЕЛИ В ПЛЕНУ

Румынскому лейтенанту (по-румынски — сублокотененту) на вид года двадцать два, не больше. Он легко ранен, его перевязывают.

Он слишком часто и суетливо отдает честь и кланяется — врачу, командирам, красноармейцам.

Он суетится, как человек с нечистой совестью.

Правда, он еще не знает, что пакет со штабными документами, который он выбросил на ходу из машины, уже найден и приве-

зен сюда, но он видит, как мы разговариваем с солдатами, взятыми в плен вместе с ним, и это его заметно тревожит.

Эти солдаты не из его роты, но они все-таки могут кое-что о нем рассказать, и он тщетно пытается прислушаться к происходящему вдалеке разговору.

Его тревога имеет свои основания.

— Он не из нашей роты, но мы все в батальоне его знаем, — говорит солдат Андрей Костаки. — Это зверь, настоящий зверь. Он сейчас тихий, потому что он в плену, но вы ему не верьте.

— Он бил солдат?

— Бил? — Костаки искренне удивлен этим вопросом. — Как же он мог бы командовать взводом, если бы он не бил солдат? Все били солдат, но он бил так, что его знает весь батальон.

Костаки с ненавистью смотрит на стонущего после перевязки сублокотенента, он не верит ни его стонам, ни его мнимой покорности и готовности отвечать на вопросы. И он прав.

Попав в плен, румынские офицеры почти всегда мгновенно превращаются в чрезвычайно словоохотливых и предупредительных людей.

Нет, они не хотели этой войны, они против немцев, они всегда, в сущности говоря, в душе были англофилами. Им жаль, что их солдаты тысячами гибнут на этой войне, которой они не хотели вместе с солдатами.

Мастера мордобоя, истязатели и палачи, когда у них вырывают из рук палку, — как правило, оказываются трусами. Это правило с полной наглядностью подтверждается и здесь.

И трудно разобрать, где кончается страх за свою шкуру и где начинается правда.

Потому, что есть и доля правды в том, что даже часть румынского офицерства не хочет этой войны.

Может быть, хотела раньше и не хочет сейчас, когда под Одессой навалены, без преувеличения, горы румынских трупов, когда одна за другой сводятся в полки разгромленные дивизии, когда у них на глазах физически уничтожается румынская армия. Об этом на допросе говорит командир танкового батальона майор Бада Марин, об этом говорит офицер штаба 14-й дивизии капитан Игнат Петри. У майора, кстати сказать, захвачен при его пленении интересный документ — разносное полуофициальное письмо командира дивизии, в котором осуждают-

ся беспорядки, творящиеся в батальоне майора, и приказывается свести в две роты восемь танков, оставшихся в батальоне после последних боев. Капитан Игнат Петри написал письмо к румынским офицерам, — он, наглядевшись на огромные потери своей и соседних дивизий, призывает офицеров всеми силами воспрепятствовать продолжению войны, спасти то, что осталось от румынской армии.

— Только я боюсь, — говорит он, — что пока это письмо дойдет по адресу, если все будет продолжаться, как идет сейчас, то адресатов уже не будет в живых.

Так говорят офицеры. В их словах сочетаются ложь и правда, но в словах сотен взятых в плен румынских солдат видна самая настоящая, выстраданная правда.

— Как вы попали в плен? — спрашиваем мы Петра Якоми из 6-го егерского полка.

— Вчера ночью ваши пошли в атаку. Капитан был убит, многие были убиты, половина побежала, а мы остались в кукурузе.

— Вы оказывали сопротивление?

— Зачем? Чем быть напрасно убитым, лучше сдаться в плен, — говорит он, разводя руками. — Я уже месяц голодаю, — добавляет он.

— Что вы ели вчера?

— Вчера? Вчера я ничего не ел, я ходил в атаку.

— А позавчера?

— А позавчера тоже. — Он что-то вспоминает и, опустив голову, говорит глухим голосом: — Когда мы переходили Прут, то несколько человек из нашей роты сами бросились в воду и потонули, нарочно, так надоела эта собачья жизнь.

— Так что же вы воюете?

— Мы боимся немцев. Если бы у нас всюду не сидели немцы, мы бы не воевали. До Прута мы шли вместе с ними, а потом немцы остались за Прутом, сзади, а нас погнали вперед.

Стрелял ли он по русским? Да, конечно, у него был приказ, но он не думает, что он в кого-нибудь попал, потому что за все время военной службы он всего три раза был на стрельбище.

— Вы рядовой, у вас нет никаких наград?

— Нет, у нас награды дают только тем, кто идет сзади и стреляет в нас, в тех, у кого нет наград. Плен — это все-таки плен, — добавляет он, вздохнув, — но я благодарю бога, что я в плену, — по крайней мере, я жив и наконец не голоден.

Из этого же 6-го егерского полка и сол-

дат Ион Батанеску, он тоже попал в плен сегодня ночью.

При каких обстоятельствах? Он понимал, с кем он имеет дело, и, когда другие стали отступать, он залег в канаве и сдался. Зачем он будет губить свою жизнь, когда у него жена и трое детей, которым нечего есть даже тогда, когда он жив.

— Вы смотрите, почему я такой грязный? Война, но главное то, что за все время войны нам выдали вот по такому кусочку мыла, — он раздвигает пальцы на два сантиметра.

— Да, незавидна жизнь румынского солдата, — подтверждает Василий Поп из 35-го пехотного полка. — Хлеб пополам с кукурузой да вонючая похлебка, хорошо, если раз в день. Я попал в плен вчера вечером, а утром капитан три раза ударил меня по лицу только за то, что он как будто звал меня в то время, как я спал и не слышал. Антонеску — обманщик: он обещал, что Румыния не будет воевать, а только будет в союзе с Германией, потом нам по его приказу сказали, что Одесса уже захвачена и что мы идем сзади немцев. А оказалось, что немцы идут сзади нас.

— Я ничего не знаю, как у меня дома, — говорит солдат Иосиф Уплеа из 30-го пехот-

ного полка. — А дома не знают, как здесь, потому что, если напишешь что-нибудь плохое в письме, не доходит. Нас так и предупредили, что в письмах можно писать: жив, здоров, скоро возвращусь — и все.

— Как вы сдались в плен?

— Мне повезло: меня послали в разведку, я был один. И когда я увидел за триста метров красноармейцев, я поднял руки — вот и все. Они увидали и взяли меня в плен.

Степан Мардар из 35-го пехотного полка с ненавистью вспоминает своего лейтенанта:

— Позавчера он со всей силой ударил меня по лицу за то, что я отставал от своего отделения. А я отставал потому, что болели ноги, — Мардар неожиданно улыбается, — и вообще я отставал потому, что видел, как многие отстают и их не находят по три недели, и я решил сделать так же.

Читал ли он советские листовки?

— Да, читал. Читал сам и читал другим, потому что, вы знаете, ведь у нас бо́льшая часть солдат неграмотны, — они возьмут листовку, а прочесть не могут.

Так говорят пленные, и им можно верить, потому что многие из них не только говорят, но и делают. Позавчера в штаб привели большую группу пленных. Вели их, как тут заве-

дено, всего два красноармейца, — еще не было случая, чтобы румынские пленные пробовали бежать. Не для того они сдавались в плен, чтобы бежать. Красноармейцы принесли сопроводительную записку. Майор, командир части, в этой записке просил обратить внимание на двух пленных артиллеристов, которые не только сдались в плен, но и повернули свое орудие против стоявшей в тылу немецкой батареи и обстреляли ее.

Мы разговаривали с этими двумя пленными.

Кырлан Скырлат из села Кривица и Георгий Костандишь из села Барна. Оба они молдаване, оба старослужащие, рождения 1909 года, оба солдаты 10-го егерского полка 15-й дивизии.

Они были в расчете противотанкового орудия. Костандишь был при лошадях, а Скырлат подавал снаряды. Их орудие было окружено. Солдаты кругом отступали, кто был убит, кто бежал, а они двое остались у орудия и решили перейти к нам. Их было только двое, потому что командир орудия был убит, а остальные все бежали.

Они знали, где стоит немецкая батарея, — на одну версту позади, и вот они остались вдвоем, с трудом повернули орудие и приготовились стрелять по немцам.

В это время пришли русские. Костандиш и Скырлат подняли руки и, когда их окружили, попросили у майора разрешения стрелять по немцам. Им разрешили, и они стали стрелять.

— Ну, и как же у вас получилось?

Ничего получилось, правда, они до этого не стреляли, их только учили, как это делается, но тут они сумели стрелять.

И как они думают, — попали они?

Конечно, они же точно знали, где находятся немцы, они только что утром возили оттуда снаряды, как же им было не попасть, какой тут может быть вопрос? Они стреляли целый час. И потом командир сам сказал, что они хорошо попадали.

Хотели бы они сейчас воевать против немцев?

Еще бы нет, когда они из-за этих немцев уже год страдают и знают от недавно мобилизованных земляков, что их семьи голодают, а имущество разорено.

Так говорят румынские солдаты, недавние крестьяне, румыны и молдаване — люди, насильно втянутые в эту войну и служащие для немцев пушечным мясом.

Одного за другим в штабах допрашивают пленных. И из этой серии допросов выясняет-

плакала от радости, что наконец очутилась «среди своих».

Бойцы отнеслись к ней с явным участием и перед отправлением в штаб заботливо накормили ее. Красноармеец нес до штаба ее узел. А многие даже жалели, что, согласно приказу, обязательно нужно доставить женщину в штаб и нельзя отпустить ее прямо к родным, которые, как она утверждала, живут «тут же, совсем близко».

В штабе прежде всего обратили внимание на узел. В нем были как будто простые домашние вещи — и вместе с тем не те вещи, какие обычно может взять с собой женщина, собравшаяся в далекий путь. Похоже было на то, что ей нужно было главным образом тащить с собой узел, а что в нем такое, ее не интересовало. Женщина с узлом больше походит на беженку.

— Как вы сюда перебрались? — спросили ее в штабе.

— Я перешла по мосту, он ведь не совсем взорван, а только опустился в воду.

Объяснение это показалось правдивым.

— Ну, а как же вы прошли мимо немецких часовых?

— Их у моста не было.

Это уже была неправда. Днем разведчики наблюдали в бинокль стоявший у моста не-

мецкий патруль. Нелепо было бы предположить, что немцы убрали часовых на ночь.

— Где же стояли немецкие часовые?

— Наверху, у спуска.

— Если так, то они не могли ведь вас не заметить!

— Они заметили и даже окликнули меня. Я побежала. Они выстрелили мне вдогонку, но я спряталась внизу, а потом мне удалось перейти мост.

Это тоже была неправда. Наша разведка, находившаяся у моста, в течение всей ночи не слышала ни одного выстрела.

Допрос продолжался три часа. Внушавшую подозрение женщину разоблачали шаг за шагом, последовательно и неумолимо. Признавалась она не сразу, неоднократно делала попытки путать, вилять, заметать следы.

Первый вариант вынужденного признания выглядел так. Немецкий офицер остановил ее у колодца. Пригрозив револьвером, он приказал ей перейти на тот берег и узнать, где расположены наши войска.

В ходе допроса офицер быстро превратился уже в двух офицеров, встреча у колодца стала свиданием в немецкой комендатуре, а угроза револьвером — обещанием пяти тысяч рублей.

Появился также пропуск, выданный немцами для обратного перехода, а также человек, который помог немцам завербовать шпионку.

Прошло три часа, и вся история была как на ладони. Она столь поучительна, во всей своей гнусности, что о ней стоит рассказать в назидание тем, кто иногда бывает настроен слишком благодушно и доверчиво.

Анна Ивановна Петрова, двадцати семи лет, дочь богатого кулака из Приднепровья. В 1929 году рухнуло кулацкое благополучие. Анна Ивановна пыталась скрыть свое происхождение и как-нибудь устроиться на место.

В 1932 году она познакомилась с бежавшим из ссылки сыном крупного кулака, которого она называет сейчас Костюковым. Знакомство перешло в длительную связь, питаемую общей ненавистью к советскому народу и общими сожалениями об утерянчом благополучии. За это время Костюков часто отлучался. Ему даже удалось обманным путем пролезть во флот, где он прослужил четыре года. В первые же дни войны Костюков исчез.

Немцы вошли в город, где жила Анна Ивановна, в три часа дня. А уже в шесть часов к ней на квартиру постучался Костюков. Постучался громко, по-хозяйски. Они встрети-

лись. Оказалось, что Костюков при первой же возможности пробрался к немцам и, двигаясь вместе с ними, пытался, где только можно, отыскивать старые связи и вербовать шпионов. Он тут же завязал беседу с Анной Ивановной и предложил ей «кое в чем помочь немцам», которые за это «могут хорошо отблагодарить».

Вечером следующего дня Костюков пришел снова, на этот раз уже с двумя немецкими офицерами. Выпивка сопровождалась длинным разговором, который велся на ломаном русско-немецком языке. Костюков показывал «товар лицом». Немцы смотрели на Анну Ивановну, хлопали ее по плечу и что-то одобрительно говорили. Когда «хозяева» уехали, Костюков сказал, что он рекомендовал им Анну Ивановну как свою помощницу. Ей знакомы все здешние места, и она должна поэтому перейти на тот берег, чтобы кое-что узнать для немцев. Костюков не преминул обещать ей немалое вознаграждение.

— Сколько? — деловито спросила готовая к услугам Анна Ивановна.

— Пять тысяч, — ответил Костюков.

Сумма эта пришлась ей по вкусу и показалась достаточной ценой за предательство. Всю ночь они обсуждали план перехода, а

утром отправились вдвоем в немецкую комендатуру.

Полчаса просидела Анна Ивановна в приемной. В это время Костюков вел какие-то разговоры в кабинете. Затем туда вызвали и ее. Она вошла. Офицер, плохо говоривший по-русски, протянул ей пропуск на право беспрепятственного прохода по мосту мимо немецких постов и столь же беспрепятственного возвращения. В разговоре он два-три раза повторил по-русски притягательную для Анны Ивановны цифру — «пять тысяч рублей».

Остальное ей подробно разъяснил Костюков. Она должна ночью перейти через полузатонувший мост, дойти до передовых советских частей, выдать себя за беженку, несколько дней пробыть в этом районе, высмотреть, где расположены войска и, главное, есть ли места, свободные для прохода танков, и вернуться обратно с подробными данными. По возвращении она получит обещанное вознаграждение.

Дальнейшее известно. Шпионка была разоблачена. Вначале она упорно прикидывалась простой, неграмотной, темной, ничего не понимающей женщиной, но, когда ее вывели на чистую воду и приперли к стенке, пришлось во всем сознаться, подробно рассказать исто-

рию с Костюковым и даже отчетливо назвать себя шпионкой.

История эта во многом поучительна и заслуживает внимания. Немецко-фашистская разведка не брезгуя никакими методами, весьма интересуется и «Костюковыми» и «Аннами Ивановнами». Она вербует свою агентуру среди остатков разгромленных капиталистических классов, среди человеческих отбросов, преступных, алчных, готовых на любое предательство. Такие шпионы часто неопытны и легко поддаются разоблачению. Но они опасны в тех случаях, когда бдительность ослаблена, когда к первому встречному относятся с излишней доверчивостью и сразу принимают его за своего.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Казалось, что и этой ночью в городе все было в порядке. Вышел очередной номер газеты «Последние новости», органа, издающегося при содействии германского командования. Там было напечатано очередное бодрое сообщение о том, что доблестные германские войска захватили семнадцать миллионов квадратных километров русской территории, то есть

всю Европейскую Россию и даже треть Азиатской, примерно до Якутска. На четвертой странице акционерное общество «Механик» сообщало, что в его лоно принимаются новые господа пайщики. Господин городской голова А. С. Грузинов, сдав вечерний отчет германскому коменданту, мирно спал в своей новой, хлопотами германцев меблированной квартире.

Доктор Рудель еще работал при свете зеленой лампы. Он систематизировал результаты медицинского осмотра пятидесяти феодосийских девушек, предназначенных работать в открывающемся завтра публичном доме. В предвкушении этого торжественного события господа германские офицеры, собравшись на нескольких частных квартирах и сидя под рождественскими елками, пили французский коньяк.

Холодный декабрьский ветер трепал на стенах домов и на заборах последнее объявление германского командования: «Германскому командованию известно, что в Феодосии ряд домов минирован и подготовлен к взрыву. Сим население немедленно призывается указать феодосийской комендатуре все подготовленные к взрыву дома. Кто заблаговременным и точным указанием воспрепятствует подготовленному взрыву, получит соответствующее

вознаграждение. Впредь за каждый взорванный дом, в зависимости от причиненного вреда, часть заложников, не менее тридцати человек, будет расстреляна. Германский комендант».

В противотанковом рву, за известковым заводом Бедризова, обдуваемые ветром и занесенные только что выпавшим снегом, лежали девятьсот семнадцать трупов русских, татар, евреев от двенадцати до восьмидесятилетнего возраста, расстрелянных здесь из пулеметов еще 8 декабря. На другой окраине города, уже не во рву, а прямо на земле, неподалеку от кладбища, лежали двести тридцать трупов крымчаков. Их расстреляли отдельно, на девять дней позже.

Русский начальник полиции господин Шапошников еще недавно в докладной записке немецкому командованию научно доказывал, что чем больше расстрелять крымчан, тем спокойнее будет немцам. Теперь он услужливо трудился за столом над новой докладной запиской о караимах, доказывая, что и они заслуживают той же участи. Под окном у городского головы, между телеграфным столбом и деревом, болтались на перекладине трупы двух из последней партии повешенных.

Словом, в солнечном Крыму, в городе Феодосии в эту ночь все было «в порядке».

Первый выстрел раскатился ровно в три часа ночи. Краснофлотцы подошли к пристани Феодосии бесшумно и одновременно. Первым на крымскую землю, на снежный причал, выскочил краснофлотец Евтушенко. Его автоматная очередь по немецким часовым, ходившим вдоль причала, была первым выстрелом, который разбудил город.

Это было дерзко и неожиданно. Катера подошли вплотную. Карабкаясь по скользким, обледеневшим плитам, один за другим выскакивали из них на феодосийский мол краснофлотцы. Высадка была встречена огнем, люди понесли потери, но, добравшись до долгожданной крымской земли, они были настоящими чертями. Они зацепились за берег и теперь знали только одно: отдай Феодосию — и точка!

Впереди высилась каменная стена порта. До нее должен был добраться передовой отряд и, захватив ее, держать ценой жизни, ценой смерти, какой угодно ценой, до высадки пехоты. Евтушенко с горстью краснофлотцев бежал к стенке, пробираясь между развалинами взорванных складов. В одном закоулке они выскочили на семерых немцев.

— Сдавайтесь! — закричали немцы.

— Есть сдаваться!— с веселым бешенством крикнул Евтушенко и, хотя немцы были совсем рядом швырнул им под ноги со всего маху последнюю драгоценную «лимонку».

Старшина Кузенко пошел со своими ребятами к портовой стенке напролом. Перед ним не было складов, было чистое место—лед и камни, по которым чиркали немецкие пули. Вместе со Спандайко и Крюковым он добежал до стенки. Дотянувшись до верха ее, выглянул и увидел, что по той стороне бежит кучка немцев. Стенка была слишком высокой. Тогда украинцы, смышленые парни, не в первый раз попавшие в переделку, с грохотом подкатили к стенке пустую железную бочку. Кузенко вскочил на нее и швырнул первую гранату. Вслед за ней он бросил их еще двенадцать. Двое заряжали и подавали ему гранаты снизу, а он бросал их смаху, с грохотом под ноги немецким автоматчикам. И эти тринадцать гранат были для немцев действительно чортовой дюжиной. Пятьдесят трупов, замерзших и скрюченных, нашли потом утром у стены в том месте, где с другой стороны ее стояла пробитая пулями железная бочка.

Вперед, вперед и еще вперед шел старшина первой статьи Патусин. Яростно бил он немцев из автомата, бил за все: за родную Одессу,

которую мы еще отобьем, за свою кровь, пролитую там, за свою старую рану, которая еще давала о себе знать. Хромая и на ходу стреляя из автомата, тяжело переваливаясь, пятная кровью снег, шел к портовой стенке краснофлотец Камбиев, тяжело раненный в ногу.

— И хромой дойду, и хромой дойду, — тяжело дыша, повторял он самому себе сквозь зубы и стрелял в немцев, крича старые русские слова, которые не печатаются в книгах, но которые, по общему свидетельству, очень помогают, когда идешь в атаку.

Это были добровольцы-моряки. Они первыми вернулись в Крым. Их вели двое храбрых людей—командир, азербайджанец, Айдинов и комиссар, русский, Понамарев. Огонь был жесток, и как бы там ни было, но брать города с моря—нелегкое дело. Трудно было преодолеть короткое расстояние до портовой стенки. Смертью храбрых погибли, не дойдя до нее, старшина Иванников, Кочетков, Шаврин, Пермяк. Смертью храбрых погибло несколько моряков, которых отнесло ветром к селению Сариголь. Они высадились, русские ребята, не знающие страха, на прибрежных, занесенных снегом камнях. Они были окружены, они дрались до последнего патрона и умерли молча, стиснув зубы, как и подобает умирать людям,

ценой жизни вершок за вершком отвоевывающим обратно землю своей родины.

Но ничто не могло удержать краснофлотский натиск. Люди взяли стенку, они перескочили, переползли через нее и ринулись дальше, в город, по черным, оглохшим от выстрелов улицам. Они брали дом за домом, квартиру за квартирой. Они врывались наверх по узким лестницам, они дрались на лестницах, в передних, в комнатах. И каждый из них стоил десяти, потому что они знали только одно: отдай Феодосию — и все!

В эту ночь в городе трудно было взять «языка». Три раза давал командир Блинов приказание привести к нему офицера, и три раза возвращались к нему с пустыми руками.

— Не могу, — говорил, стоя перед командиром, рослый моряк, без каски, с обмотанной окровавленным платком головой, — не могу увидеть его и не убить. Сколько моих товарищей погибло, а я его в живых оставлю? Как хотите, товарищ командир, а нет у меня такой силы, чтобы в живых его оставить.

В четвертый раз послал командир за «языком» двух старшин — Ткача и Геброва. Они ворвались в дом на Итальянской улице—дом, у ворот которого, не прячась, не боясь пуль, стояла простоволосая старая женщина и зва-

ла войти, войти и убить, — она так и говорила с ненавистью, — убить троих офицеров, которые прятались в этом доме.

Ткач и Гебров ворвались в квартиру. Они были встречены выстрелами. Два немецких офицера, решивших умереть с оружием в руках, через полминуты получили все, что они хотели. Переступив через их трупы, Ткач и Гебров вошли в следующую комнату. Третий немец, полуголый, в одном белье, лежал под кроватью; на спинке стула висел его френч с капитанскими погонами и железным крестом. В разбитое окно на пол задувало снег. Краснофлотцы вытащили немца из-под кровати. Он был смешон, этот долговязый человек в шелковых кальсонах, дрожащий от холода и покрытый снегом, сыпавшимся из разбитого окна. Так его и привели, первого «языка», взятого в плен в Феодосии.

Моряки все вперед и вперед пробирались по улицам, а сзади уже гремела канонада. Уже с боевых кораблей, пришвартовавшихся прямо к молу, высаживалась пехота майора Андреева. Пробравшись через улицы, забитые машинами, через дворы, со всех сторон простреливаемые автоматчиками, она ринулась дальше—за город, в горы, туда, куда бежали отступающие немцы. Пехота рвалась дальше

в Крым. В Крым, на землю которого она вступила сегодня и который скоро возьмет весь без остатка.

Светало. Комиссар отряда Понамарев шел по одной из прибрежных улиц к себе, в только что отбитую комендатуру. Теперь он стал хозяином города, он должен был налаживать в нем власть. Он шел, хозяйским оком оглядывая стоящие у подъездов немецкие штабные машины и не обращая внимания на еще повизгивавшие то здесь, то там пули. Он уже привык к их звуку. Люди выходили из подвалов. На улице Ленина к комиссару, большому, широкоплечему человеку, обвешенному оружием и гранатами, подошла худенькая десятилетняя девочка.

— Дяденька, — сказала она, — а можно теперь опять галстук носить? У меня вот тут «будь готов» есть.

Разжав маленькие, замерзшие, синие пальцы, она показала комиссару лежавший на ладони крошечный пионерский значок — зажим для галстука.

— Можно, — сказал комиссар,—теперь все можно.

Он хотел что-то еще добавить — хорошее, ласковое, но вдруг вспомнил, что он — комиссар города, что на улицах еще стреляют, что

он должен вернуть сюда советскую власть. Махнув рукой, тяжело переступая через валявшиеся трупы немецких солдат, он зашагал к зданию комендатуры.

ПРЕДАТЕЛЬ

Над Феодосией кружатся «Юнкерсы». Немцы не в состоянии вырвать инициативу из наших рук. Они в бессильной злобе бомбят маленький курортный городок с его легкими зданиями, приморскими бульварами, домиком Айвазовского и развалинами старой генуэзской крепости.

Стекла в доме давно выбиты, окно закрыто фанерой, которая чуть не каждую минуту коробится от взрывов. Вздрагивая и косясь на окно, все еще дрожа за свою жизнь, сидит передо мной в холодной комнате особого отдела существо, когда-то бывшее человеком,— вчерашний бургомистр города Феодосии Василий Софронович Грузинов.

Я хочу рассказать историю этого предателя не потому, что он совершил что-то небывалое и исключительное, а как раз потому, что это обыкновенный негодяй и трус. Таких, к счастью, у нас немного, но они все-таки встре-

чаются, эти слизняки, называющие себя людьми, готовые на подлость, на измену, на что угодно, лишь бы сохранить свою жалкую жизнь, свои три комнаты с фарфором и набитые мануфактурой комоды.

Передо мною уже немолодой человек, в галифе, потертой кожанке и в старой, надетой набекрень, кубанке. Еще недавно он одевался совсем иначе. И кожанка, и галифе, и кубанка — весь этот маскарадный костюм «под партизана» был наспех надет трясущимися руками в четыре часа ночи, когда наши войска ворвались в город и надо было хоть как-то попробовать еще раз спасти свою блудливую жизнь.

Его ночью схватили жители и привели в комендатуру. Особистам еще некогда допросить бургомистра. Он пойман — это главное, а пока не до него. Вышло так, что я оказываюсь первым, кто его расспрашивает.

Как это ни странно, он еще на что-то надеется. Он думает, что если прожил целые сутки, то, может быть, проживет и еще одни сутки, а потом еще одни. Из этих суток для него складывается жизнь. Только бы удержаться за нее, только бы не выпустить, только бы пожить еще хоть немножко! Он сидел эти сутки и писал писал, измарывал лист за

листом. Только бы побольше написать, только бы создать видимость, что он раскаялся, стал на что-то нужен, кое-что знает и еще что-то напишет, ради чего его не расстреляют еще сутки, еще двое-трое суток.

Грузинову тридцать девять лет, но он так постарел и осунулся от страха за эти сутки, что ему трудно дать меньше пятидесяти. Он сгибается на стуле и заглядывает мне в лицо. Он не знает, что я военный корреспондент, а не прокурор. Он пристально, жадно смотрит, напряженно ищет слова, которые нужно сейчас сказать для того, чтобы продлить свою жизнь.

Он здешний, крымский. Родился под Бахчисараем. Последние годы был специалистом по плодо-овощам и по виноделию, директором заготовительной конторы. Он даже в 1939 году вступил в партию, он кандидат партии. При всей своей трусости он еще и наглец. Получается, что городским головой он стал именно от желания сохранить свою драгоценную жизнь для партии!

А почему же он не уехал из Крыма?

Не успел. Был на своем плодо-овощном производстве, так сказать, как капитан на гибнущем корабле. Ему приказали перед отходом уничтожить вино.

Ну, и уничтожил он вино?

Да, то есть нет, не совсем. Он случайно отравился и заболел. Остался лежать у себя в комнате, около винного подвала.

А где же его семья?

Здесь. Жена у него немка, ее зовут София Эдуардовна Циммер. Она уезжала в Геленджик, но потом вернулась, потому что война в Крыму кончилась.

Итак, он считал, что война кончилась, и это главное. Считал и надеялся, что его не тронут, потому что жена у него немка, а он, как специалист по плодо-овощам, приберет к рукам винные склады, откуда он так удачно не успел выпустить вино. Надеялся, что война кончилась и он станет хозяйчиком, у него будут деньги и свои рабочие, которые станут бояться его и не посмеют напомнить ему, что он вор и предатель.

Немцы явились к нему в первый же день. Они приехали и потребовали вина. Он предусмотрительно сохранил вино, и ему удалось удовлетворить запросы немцев, не портя с ними отношений. К тому же они не знали, что он кандидат партии.

На другой день приехал директор немецкого земельного отдела господин Курт с переводчиком.

— Не помню фамилии, — виновато добавляет он, — но если я его встречу или увижу, то непременно, непременно покажу.

Он быстро заглядывает мне в глаза, ему хочется знать, важно или не важно, что он может показать переводчика. Может быть, с ним вместе будут искать переводчика, и тогда его еще три дня не расстреляют.

Господин Курт явился к нему с переводчиком, но тот не понадобился, потому что жена говорила по-немецки. Они быстро пришли к полному согласию. Его назначили заведующим складом, то есть нет, не заведующим, а управляющим. Немцы его именно так и называли — «господин управляющий». Даже сейчас, когда он повторяет это, чувствуется, как приятны были ему слова: господин управляющий.

А потом он произвел инвентаризацию вина, и все были очень довольны и приезжали с записками от немецкого командования. А когда приезжали без записок, то он вина не давал, и ему даже поставили телефон, чтобы он мог звонить коменданту, потому что немцы любят порядок. Именно из-за того, что он был так аккуратен и добросовестен, и начались все его главные «несчастья». Двенадцатого декабря вечером его вместе с женой

вызвали к немецкому коменданту и предложили стать городским головой.

— Что вы на это ответили?

— Я сказал, что не справлюсь, я еще никогда не был на таких должностях.

Оказывается, это единственное, что его смущало. Он боялся не справиться, не оправдать высокого доверия немецкого командования.

Но жена решительно сказала ему, что ничего, что он справится, и тогда он согласился.

Что же он делал, когда был городским головой. Не подписывал ли он бумаги о расстреле населения Феодосии?

— Нет, что вы, что вы!

У них в городской управе не подписывали этой бумаги, у них только составляли списки — вот и все. А расстрелом занимался немецкий комендант.

Но он знал, для чего составляются списки?

— Я только догадывался.

Да, он только догадывался, этот проклятый выродок, своей рукой составивший кровавый список сначала на девятьсот семнадцать человек, а потом на двести тридцать. Он не виноват, он сам их не расстреливал, их расстреливали другие.

Чем же он занимался в свободное от составления списков время?

Ничем особенным. Выплачивал деньги отделам городской управы, читал доносы на неблагонадежных. Немецкий комендант присылал эти доносы ему на консультацию, и он должен был выделять из них особенно неблагонадежных.

И он выделял?

— Да.

А что с ними потом делали, — этого он не знает, это его не касалось. Он сидел у себя в кабинете, как платный консультант немецкого командования. Сидел и писал пахнущие кровью бумажки, благо они были белые и гладкие, и кровь не прилипала к пальцам.

Видел ли он виселицы в городе и трупы расстрелянных по его спискам?

Нет, не видел, он никуда не выходил из своего кабинета. Он только писал. Это ему кажется очень важным смягчающим вину обстоятельством. Да, он не видел дела рук своих, потому что боялся пройти по городу, боялся выйти из кабинета, боялся плевка в лицо, камня в голову, выстрела в спину, боялся каждого из двадцати тысяч человек, живущих в городе, которых он предал.

Утром он выезжал на машине из своей квартиры к немецкому коменданту за ежедневными инструкциями. Потом ехал в городскую упра-

ву и трудился в поте лица до ночи. Ночью ему присылали машину, и он ехал на доклад к коменданту. Оттуда его везли домой.

Он ехал в закрытой черной машине, подняв воротник, ежась, стараясь не глядеть в стекло. Его пугал этот молчаливый, словно вымерший, чужой город.

Чужой — потому что за этот месяц он навсегда забыл, что его родила русская мать, и чувствовал себя здесь больше чужестранцем, чем сами немцы. Он вместе с ними угнетал и вместе с ними боялся мести.

Такова дорога предателя. Она оборвалась ночью 29-го. Как всегда, он поехал вечером от коменданта домой. Но утром ему уже не подали машины. Утром он, окруженный толпой горожан, подталкиваемый пинками, пешком прошел свой короткий последний путь от дома до комендатуры. Немецкий комендант лежал застреленный в подъезде дома, около своей машины, которая была разбита гранатой.

А в комендатуре сидел русский комендант— широкоплечий моряк с маузером, засунутым за борт кожанки.

Городской голова переступил порог. Одна из приведших его женщин окликнула его сзади, он обернулся. Тогда она плюнула ему в лицо. Он сейчас сидит передо мной, потирая руками

лицо. Кажется, что он хочет стереть с него плевок.

Опять где-то близко грохает взрыв бомбы. Он снова вздрагивает, мелкий и жалкий трус. Когда завтра или послезавтра его поставят к стенке, он, наверно, будет плакать и цепляться за руки. Его брезгливо ударят прикладом по цепляющимся рукам и убьют, как собаку, убьют так же, как убьют всех ему подобных рано или поздно, всех до единого — и тех, кто пойман вчера в Феодосии, и тех, которых поймают в Одессе, Киеве, Смоленске. Еще не знаю, когда, но поймают, непременно поймают.

Запад

ЧАСТИ ПРИКРЫТИЯ

«Наши части прикрытия, переходя в контратаки, задерживают противника до подхода наших главных сил».

Эту скромно, по-деловому звучащую фразу мы не раз читали в сводках Информбюро.

Но что скрывается за этой фразой, какие подвиги, какая железная выдержка стоят за простыми словами — «задержать противника до подхода наших главных сил», — это не все себе ясно представляют.

Военный язык лаконичен. В приказе сказано — задержать противника. Но слово задержать в нашей армии значит — задержать во что бы то ни стало. Слово драться в нашей армии значит — драться до последней капли

Части прикрытия — это значит части, которые приняли на себя первый удар врага, первыми прощупали его стратегию и тактику, первыми на ходу, во время боя, научились новым приемам борьбы с ним.

Они задержали врага, они совершали иногда дорого обходившиеся ошибки, они, исправляя эти ошибки, накопили новый боевой опыт, которым сегодня и завтра воспользуется вся армия для разгрома врага.

Это сделает наша армия, которая сосредоточилась и развернулась, пока части прикрытия выигрывали для нее время, — время, настоящая цена которому познается только на войне.

Армия развернулась, части прикрытия отведены в армейский тыл на несколько десятков километров. Но фронт и тыл — между ними в этой войне нет четкой границы.

По ночам, когда кругом тишина, можно слышать далекую канонаду тяжелых орудий. Это бьет наша корпусная артиллерия.

Когда начинает темнеть, в лесу мелькают белые отсветы — точка, тире, точка, тире, — это немецкие диверсионные группы пытаются снестись друг с другом или подать сигнал своим самолетам.

Огоньки быстро потухают, наша разведка научилась точно работать: на третьем тире сигналисту пришлось поднять руки вверх.

Части прикрытия комплектуются, восполняются потери. Взамен искалеченных в тяжелых боях орудий и пулеметов подвозятся новые.

Но если вы станете говорить с командирами и бойцами такой части, недавно вышедшей из боя, то меньше всего вы услышите разговоров о потерях; бойцы и командиры говорят об опыте боев, о слабых местах врага, о новой технике, которую они выработали в боях и теперь применят против него. И когда вспоминают о погибших товарищах, то вспоминают о них, не просто сожалея, а обсуждая и одобряя их поведение в бою, их опыт борьбы, который они ценой своей жизни передали другим.

Н-ский стрелковый полк вместе с другими полками дивизии был 22 июня поднят по тревоге и, приведя себя в боевую готовность, сделал за двадцать один час семидесятипятикилометровый марш.

Перегрузившись под обстрелом вражеской авиации на машины, полк на рассвете прибыл к месту сосредоточения.

Полк и подходившую танковую дивизию противника теперь разделяло расстояние всего в несколько километров.

С хода развернувшись, полк занял оборону вдоль покатого берега реки Ш.

Чтобы дать полку возможность окопаться, а гаубичному дивизиону занять выгодные огневые позиции, 2-й батальон был выброшен вперед.

На него была возложена почетная задача принять первый удар.

Стойкую пехоту, которая успела хоть немного закопаться в землю и укрепиться, трудно выбить с ее позиций, трудно, даже если против одного полка действует танковая дивизия.

Немцы понимали это не хуже нас, и пока полк окапывался, каждые пятнадцать минут над его головой с ревом пикировали чужие бомбардировщики.

Но расчет врага на панику, на замедление темпа оборонительных работ был сорван. Маскируясь, укрываясь за деревьями, ложась и снова вставая, бойцы хладнокровно и быстро продолжали свое дело. Не было ни беготни, ни беспорядочной пальбы из винтовок, каждый был занят своим делом: бойцы — своим, зенитчики — своим.

И надо сказать, что зенитчики в первом бою действовали довольно удачно.

Спокойно выждав секунды, когда бомбардировщики переходили в пике, расчет крупнокалиберных зенитных пулеметов посылал оче-

реди прямо в лоб, в моторную группу фашистских машин.

Один за другим три бомбардировщика, горя и с грохотом ломая деревья, обрушились в лес.

Тем временем 2-й батальон уже принимал неравный бой.

Противотанковые пушки били прямой наводкой по танкам. Отступая с рубежа на рубеж, пулеметчики метким огнем старались оторвать вражескую пехоту от танков, заставить ее лечь, не дать ей поднять головы.

Вот загорелся один танк, потом второй, третий, четвертый, остальные двигались уже медленнее, чем вначале, останавливаясь, чтобы пристреляться по нашим противотанковым пушкам, подтягивая свою не особенно храбро шедшую под огнем пехоту.

Между тем батальон, выполнив свою задачу и задержав противника, постепенно отходил за левый фланг полка.

К четырем часам дня бой разгорелся уже перед всем фронтом полка.

Теперь по числу атакующих танков уже легко на-глаз можно было определить, что против нас в полном составе действует мотомеханизированная дивизия врага.

Узкая полоса реки с единственным мостом отделяла нас от противника. Танки, выходя на

берег, стягивались к мосту, но жестокий артиллерийский огонь не пускал их на самый мост. Немецкая пехота, скопившись на опушке леса, пыталась короткими перебежками достичь берега реки и переправиться через нее в брод.

Загорелось еще несколько танков. С наших позиций было хорошо видно, как вела себя немецкая пехота. Под пулеметным огнем она пыталась, пусть медленно, но все-таки продвигаться.

Но когда справа и слева от нее черными факелами вспыхивали танки, она немедленно ложилась, и офицерам, видно, уже трудно было оторвать ее от земли.

Вера в эти стальные машины, с которыми до сих пор так легко доставались победы, эта вера, оказывается, имела свою оборотную сторону.

Машины горели одна за другой. Немецкая пехота не привыкла к этому, она боялась, она не хотела сама итти вперед. Пусть первыми пойдут танки.

И танки снова шли, и снова скучивались у моста, и снова загорались.

На помощь им пришла артиллерия. Подтянув к реке свою артиллерию танковой поддержки, немцы стали охотиться за нашими противотанковыми орудиями.

Соединенными усилиями танков и артиллерии к вечеру половина наших пушек была выведена из строя.

Но недаром славится русская артиллерия Остальные наши пушки нащупали позиции врага и метким огнем к ночи разбили восемнадцать орудий противника и зажгли шестнадцать танков.

Помогая артиллерии, пулеметчики метко били по смотровым щелям танков, ослепляя врага.

Но потери все-таки сказывались. Наш огонь был уже реже, и, пользуясь этим, части немецкой пехоты доползли до берега реки и начали переходить ее в брод.

Заметив это, вторая рота полка вылезла из укрытий и перешла в стремительную контратаку.

Испугавшись штыкового удара, немецкая пехота с поспешностью ретировалась на тот берег.

Было уже темно. На несколько минут наступило затишье.

Но ровно в десять часов вечера, видимо, отчаявшись овладеть нашими позициями с налету, противник подвез гаубичную артиллерию и открыл ураганный огонь.

Разрывы шли сплошным огневым валом с

берега реки в глубь леса и с флангов к центру наших позиций.

Нужна была железная выдержка, чтобы высидеть под этим огнем, зорко наблюдая за каждым движением врага.

Под прикрытием огневого вала немецкая пехота стала переправляться через реку и скапливаться на этом берегу.

Ровно в двенадцать часов ночи немцы перенесли артиллерийский огонь вглубь. Убежденные, что наши части уничтожены и деморализованы двухчасовым ураганным огнем, они наконец решили итти в атаку.

Но ровно в двенадцать часов командир полка, решив не дожидаться немецкой атаки, подтянул все силы, собрал всех уцелевших бойцов и, подняв их, с криком «ура!» сам повел в контратаку.

Грозное русское «ура» совершенно неожиданно обрушилось на переправившихся через реку немецких солдат.

Они в беспорядке, кто в брод, кто вплавь бросились обратно, не принимая штыкового боя.

Впрочем, далеко не все успели уйти за реку, многим поневоле пришлось все-таки испытать на себе силу русского штыка.

Так закончился этот трудный для полка день.

Немецкая танковая дивизия была задержана на двенадцать часов. Было выведено из строя до тридцати танков и восемнадцати орудий противника.

Мы тоже понесли серьезные потери. Но как ни были они тяжелы, бойцы в эту ночь чувствовали себя победителями. Разбитые немецкие танки и орудия, уничтоженная немецкая пехота—все это только половина победы. Второй половиной победы был выигрыш времени. Двенадцать часов военного боевого времени! Бойцы знали: там, сзади, развертываются главные силы, используя эти двенадцать часов, выигранных ими в кровавом бою.

К рассвету полк оставил этот лес, изрешеченный снарядами, изрытый воронками, точно пристрелянный немецкой артиллерией.

Полк отошел назад, на новый рубеж обороны, где завтра ему предстоял такой же жестокий и героический бой.

А в сводке Информбюро утром появилась скупая фраза: «В течение прошлого дня наши части прикрытия сдерживали наступление противника до подхода наших главных сил».

5 июля

ДОРОГА НА ЗАПАД

Старый тракт из Рязани на Михайлов—Епифань—Богородицк. Старинные русские города, названия которых записаны еще в летописях времен татарского нашествия. Старая, родная русская земля — сердце России.

Русские войска снова идут по этим старым дорогам, изгоняя чужеземцев, истребляя их беспощадно за то, что они неделю, день, час тому назад поганили и жгли все, что нами, нашими руками возведено на этой земле.

Деревня Попадьино на полдороге между Рязанью и Михайловом — последний пункт, до которого во время своего наступления успели дойти немцы. У дороги валяется разбитая машина. Здесь немецкие мотоциклисты догнали начальника районной милиции, сельского милиционера и девушку — сельского врача, расстреляли их и разбили гранатами машину.

Маленький домик у околицы. Здесь у изгороди зарыты тела двух наших разведчиков. Они первыми вошли в эту деревню и постучались в двери этого дома. У хозяина дома, австрийца, военнопленного, двадцать пять лет жившего на нашей земле и евшего наш хлеб, сидело несколько мотоциклистов. Когда наши разведчики постучались, он спрятал немцев и впустил разведчиков в дом. Через минуту они

были предательски застрелены через окно очередью из автомата.

Это были первые жертвы наступления. Подошедшая часть расстреляла предателя и похоронила двух бойцов. Войска шли дальше и дальше на юго-запад, деревню за деревней отбивая у немцев.

Все чаще на дороге попадаются немецкие транспортные машины, грузовики, мотоциклеты, штабные машины, орудия.

Михайлов. Город разбит артиллерией. Ни в одном доме нет стекол. Ясли, городская библиотека, школа — все загажено. На полу валяются обломки обгоревшей мебели, обожженные листы шедших на растопку книг. Немцы опоганили город, но сжечь не успели. Стремительным натиском части генерала Голикова обошли город с двух сторон и ночью, в трескучий тридцатиградусный мороз, пошли на штурм. Немцы не выдержали и бежали после яростного ночного уличного боя. В каждом дворе стоят их машины. По улицам рассыпаны пачки документов. Задрав к небу стволы, стоят на перекрестках брошенные зенитные орудия. По оврагу на задворках, полузанесенные снегом, торчат огромные жерла восьмидюймовок. У большинства орудий немцы даже не успели вынуть замки, и рядом с ними валяются ящики с неизрасходованными снарядами.

Несмотря на приказ Гудериана жечь машины, немцы не успели их сжечь. Иные из них только наспех попорчены, иные совсем целы. Трупы немецких солдат и офицеров валяются вперемежку с разбросанным снаряжением, с кучами ворованных вещей, с расстрелянными гильзами, дневниками, письмами — великим множеством на чужом языке написанной бумаги.

Еще до сих пор в городе то в одном, то в другом подвале вылавливают спрятавшихся немцев. Они пытаются уйти, переодевшись кем угодно — красноармейцами, рабочими, даже женщинами. Они пытаются уйти, но уйти им уже некуда. Они могут бежать на юго-запад дорогами и полями десять, пятнадцать, пятьдесят, сто километров и не догонят свои части, которые катятся все дальше и дальше, на Гремячее, Епифань, Богородицк.

Метель и гололедица. Дорогу беспрерывно заметает, она еле видна. Черными пятнами прямо на дороге, справа и слева от нее, виднеются брошенные немцами машины, танки, броневики. Их бросали по разному поводу: потому, что нехватало бензина; потому, что они застревали в снегу; потому, что испортилась какая-то мелочь, которую некогда исправить. Некогда, некогда, ибо руеские идут по пятам и не дают передышки.

Особенно много брошено транспортных машин, которые возили знаменитую немецкую мотопехоту. Можно себе представить, какая волчья грызня шла на этой дороге из-за каждого места в каждой исправной машине.

Гремячее—широко раскинувшееся вдоль дороги старинное село. У въезда в него прямо вдоль домов целой полосой тянется наспех вырытое немецкое кладбище. Несколько сот березовых крестов с касками и вкривь и вкось исписанными черной краской железными и деревянными дощечками.

Так они хоронили своих во время наступления.

Отступая, они уже не успевали ставить кресты. Скрюченные трупы валяются по обочинам дорог... Но довольно о них. О них не стоит говорить. Собаки нашли свою собачью смерть. Все правильно. А кресты — эти кресты мы выроем и вышвырнем с дороги вместе с касками, которые повешены на них. Вышвырнем, потому что мы, уважая солдата и солдатскую смерть, не имеем и не будем иметь уважения к ворам и убийцам и к их грязным могилам. Пусть не рассчитывают ни на пощаду при жизни, ни на память после смерти.

В том же Гремячем односельчане еще не успели похоронить только что снятых с виселиц пятнадцать человек своих родных и сосе-

дей. Эти люди не хотели быть холуями у немцев. Они вели себя с достоинством русского человека, и этого было достаточно, чтобы немцы их повесили и не давали снять с виселиц трупы до своего ухода.

Город Епифань. Вернее то, что было городом Епифанью, и то, что будет городом Епифанью. Да, будет! Потому что исчезнет с земли вся эта немецкая сволочь, все эти убийцы, мародеры и насильники, а русские города, разрушенные ими, восстанут из праха, как они восставали уже не раз, и будут стоять еще века на тех самых местах, где они уже веками стояли.

Но сейчас Епифани нет. Среди огромного пожарища высятся только несколько остовов полуразрушенных церквей. Темнеет. В полутьме по развалинам еще бегут то здесь, то там низкие языки пламени. Так пахнет гарью, что через город почти невозможно проехать. И все-таки вслед за нашими войсками пришли на пепелище люди. Они стоят, сжимая кулаки, глядя на развалины города сухими от ненависти глазами. Они возвратились сюда жить и работать. И, пока они не построят этого города вновь, они будут работать на этих развалинах. Немцы не могли осилить нас огнем своих орудий, они не остановят нас и пожарами наших городов.

Велик и вынослив русский народ. Велик, вы-

нослив, но в то же время и страшен в гневе. Я проехал по опустошенным дорогам, по выжженным деревням, по местам, где чаша страдания, кажется, перелилась через край, и все-таки я видел мало слез. Когда очень ненавидишь, у тебя мало слез. Когда хочется мстить, не хочется плакать. Когда рядом с пепелищем родного дома видишь труп заклятого врага, не слезы, а радостная ярость подступает к горлу.

Десятый день с жестокими боями идут вперед части генерала Голикова. Алферьево, Серебряные Пруды, Михайлов, Гремячее, Епифань. На некоторых участках наши дивизии за десять дней прошли двести километров. Каждый день двадцать километров отвоеванной своей, родной, политой кровью, русской земли.

За Епифанью немцы вырыли окопы, сделали эскарпы, облили их скаты водой — все напрасно. Бойцы ринулись вперед, и окопы были оставлены, эскарпы пройдены, обледенелые скаты были взяты штурмом, беспощадным штыковым ударом.

Под Гремячим немцы бросили в бой танки и бронемашины. Наша пехота остановилась, грудью встретила их удар, отбила и пошла дальше. Рязанские, пензенские крестьяне, тульские и горьковские рабочие — люди, оставившие свои дома и семьи не для того, чтобы отступать перед чем бы то ни было. Они шли

вперед, по бездорожью, по гололедице, сквозь метель и ветер, пробивая себе путь от хаты к хате, от деревни к деревне, от города к городу.

Ночь. Сквозь вьюгу видно, как по всему горизонту полыхают громадные зарева пожаров. Немцы, уходя, жгут, жгут все, что могут, все, что успевают, все, что им попадается под руку. Они, кажется, потеряли надежду сюда вернуться, они хотят уйти, хлопнув дверью.

Мы едем все дальше по дороге на юго-запад. Теперь уже совсем близко перед глазами громадное зарево пожара — это горит Богородицк.

Короткая остановка в деревне Кондуки. Все сожжено. Отсюда немцы ушли всего несколько часов назад. Пожар еще крутит свои огненные языки над домами. В стороне, на пригорке, четыре дома не тронуты пожаром. Сюда сбились все, кто остался в живых в этой деревне. Обмороженные, голодные женщины с грудными детьми на руках, последние двое суток ночевавшие в поле, в стогах и сугробах. Сквозь разбитые стекла смотрят они на догорающие остатки своих жилищ.

Сегодня старуха с обидой в голосе требует, чтобы мы подождали, пока она сварит картошки.

— Они и картошку-то хотели сжечь, иро-

ды, — говорит она. — Дверь погреба открыли, хотели, чтобы она сгорела, да она, вот нако-ся, выкуси, не сгорела. Не сгорела, да и все тут, моя картошка. Останьтесь, милые, покушайте, — небось, как и мы, по холоду сколько дней идете. Сейчас я вам стол помою. Не сейчас садитесь за него, поганый он. Они как придут, так сейчас лампу зажгут, разденутся и на стол голой задницей вшей давить. Манька! — кричит она девчонке. — Принеси нож! Я стол ножом поскребу, а то совсем загадили, паршивцы, русскому человеку сесть за него тошно.

После Кондуков — Колодезная. Отсюда немцы ушли еще позже, совсем недавно. Те же обгоревшие трубы, то же пожарище, те же дрожащие от холода, сбившиеся в сараях и среди развалин женщины и дети.

К командиру приводят двух немцев. Их только что поймали за соседними домами. Не успев бежать, отчаявшись спастись, они, в своей поистине волчьей ненависти, решили дожечь то, что не успели сжечь их собратья. Их поймали с соломой в руках.

Разве можно назвать пленными этих убийц и поджигателей? Да и вообще, разве применимо к ним какое-нибудь человеческое слово? Пуля в лоб — единственное, чего они заслуживают. Их отводят на двадцать шагов от нас,

к развалинам сожженного дома, и расстреливают. Они падают, скрючившись, на почерневший от пепла снег. На этом кончается их подлая жизнь. Бойцы уходят, не оборачиваясь. Пахнет гарью и дымом. Грязная падаль лежит на черном снегу.

А Богородицк все еще горит. Грохочет артиллерийская канонада, и, когда на секунду стихают порывы ветра, слышится частая трескотня пулеметов.

Метель такая, что ничего не видно за три шага. В эту ночь Богородицк должен быть взят. Может, он уже взят, но донесений все еще нет. Генерал Голиков отправляет вперед одного из своих штабных командиров. Командир на секунду задерживается.

— Товарищ генерал, скажите сегодняшний пропуск.

— Пропуск? Сегодняшний пропуск — Богородицк. Понимаете — Богородицк! И отзыв тоже — Богородицк, и не возвращайтесь ко мне без донесения о том, что Богородицк взят! Ясно?

— Ясно.

Через секунду командир скрывается за метелью. Все сильнее и сильнее доносится артиллерийская канонада. Теперь сплошное зарево заняло весь горизонт, и даже летящий круп-

ными хлопьями снег на фоне его кажется красным.

Утром наши части во главе с полковником Немудровым ворвались в Богородицк. Улицы дымились. То там, то здесь возвышался одинокий, сохранившийся от пожара дом. В одном из этих домов бойцы нашли семь человек немецких солдат, полураздетых, напившихся с вечера и продолжавших спать во время боя. Это было бы невозможно в июле, мало вероятно в сентябре и возможно сейчас. Они стоят, посиневшие, дрожащие от холода и страха. Они боятся, что их расстреляют. Их не расстреливают, хотя, по всей человеческой справедливости, они только этого и заслуживают. В подвале одного из сожженных домов только что, вот сейчас бойцы нашли четырнадцать трупов запертых там и заживо сожженных красноармейцев.

Двое красноармейцев ведут по улицам выжженного города семерых немцев. Они ведут их далеко-далеко в тыл, через сожженные города и деревни, через разрушенные села. Они поведут их и доведут, потому что таков приказ. Но они с удовольствием, не сделав и трех шагов, воткнули бы штык в глотку каждого из этих мерзавцев. Они поведут их через сожженные деревни, мимо женщин, которые будут проклинать врагов и плевать им в глаза. Они должны

будут защищать врагов от народного гнева, от стариков, которые готовы повесить их на первом дереве или задушить своими руками. Красноармейцам захочется зайти в избу погреться, но они должны будут взять с собой в избу этих семерых негодяев, которые день или два назад вытащили из этой избы все, что смогли, и повесили на стропилах ее хозяина. Красноармейцы доведут их, потому что таков приказ. Но я не знаю, у кого из нас поднялась бы на них рука, если бы они не выполнили этого приказа.

Я сижу в доме, который сгорел на две трети — от него осталась одна комната. Рядом со мной на подоконнике сидит пятилетняя девочка с не по годам серьезным, худеньким личиком и впалыми глазами.

— Ну, скажи, Раечка, что же тут делали немцы?

— Одеялку утащили.

— У кого?

— У меня. Мою, байковую. А еще у бабушки носки утащили. И у дедушки тоже носки утащили.

Из угла поднимается высокий старик.

— И ведь, кажется, уже все взяли. Одеялом окошко завешено было. Так уже в дверях были, да вернулись и сдернули. А одеяло, оно

ведь маленькое. Какое у нее одеяло? Вроде платка. Так все-таки, нет, обернулись и сдернули.

У старика дрожит голос от гнева, от гнева и удивления. Он прожил долгие годы, и он не понимает, как могут дойти люди до такой мерзости одичания.

— Нет, это не люди,—говорит он.—Это не люди, — повторяет он убежденно, качая седой головой. — Я их назвать людьми не могу, не имею права...

Да, их нельзя назвать людьми. Нельзя и не надо...

Я лечу обратно на связном самолете. Сверху как-то особенно хорошо видны эти сожженные города и деревни, эти провалившиеся крыши и обугленные трубы — результат работы мерзавцев, смевших называть себя людьми.

На дорогах валяются их броневики и машины. Много броневиков и машин — и все-таки мало. Надо больше, больше, как можно больше, до последнего.

В придорожных канавах валяются их окоченевшие трупы. Трупов много, очень много. И все-таки мало, мало. Надо больше, как можно больше, до последнего.

Мы делаем посадку в одном из сел, и, сдернув шлем, летчик связного самолета говорит мне глухим голосом:

— Не могу больше. Буду просить перевести в штурмовую авиацию. Хочу их сам, своими руками, чтобы чувствовать, что сам их убиваешь!

Да, он прав. Я его понимаю. Вот именно такое чувство и у меня, и у каждого из нас, кто видел все это: убивать их своими руками, хоть одного — но непременно своими руками.

Декабрь

ИЮНЬ—ДЕКАБРЬ

1

Это было 24 июня. Поезд, почему-то состоявший из дачных вагонов, отошел от темных платформ Белорусского вокзала. Горели синие фонари. К ним тогда еще не привыкли. Поезд шел в Минск. Больше всего в нем ехало командиров, возвращавшихся из отпусков в свои части. Третий день шла война, все очень спешили туда, на запад.

Рядом со мной ехал полковник-танкист, маленького роста, седеющий человек с орденом Ленина на гимнастерке. Вместе с ним ехал на фронт его сын, не помню, кажется,

его звали Мишей. Отцу разрешили в Наркомате Обороны взять шестнадцатилетнего мальчика с собой добровольцем на фронт. Они были похожи друг на друга, отец и сын, оба маленькие, коренастые, с упрямыми подбородками и серыми твердыми глазами.

Дальше Борисова поезд не пошел. Впереди были немцы, разрушенное полотно, полная неизвестность.

В лесу, под Борисовом, на берегу Березины, собралось несколько тысяч командиров и красноармейцев, возвращавшихся в свои части.

Эти части дрались впереди, но между ними и нами были немцы, неожиданно прорвавшиеся к Борисову.

Немецкие самолеты бреющим полетом, волна за волной шли над нашими головами. Они бомбили и обстреливали нас с рассвета до заката, а впереди громыхала артиллерия. Все были из разных частей, никто не знал друг друга, не знал, что происходит кругом. Но нашелся человек, который сразу сплотил всех и поставил на свое нужное место. Душой и сердцем людей, собравшихся в лесу под Борисовом, оказался маленький полковник, ехавший со мной в поезде.

Им первым были произнесены слова: «занять оборону». Он первый собрал вокруг себя старших командиров, подсчитал оружие, разбил людей на роты и взводы, и люди снова почувствовали себя войском.

Вдруг нашлись какие-то пушки, несколько пушек, несколько пулеметов, были посланы люди обратно в Борисов за боеприпасами. Мы рыли окопы и щели, мы выбирали себе места и ложились с винтовками в оборону. Тут были самые разные люди. Слева от меня лежали артиллерийский капитан и военюрист, справа — двое штатских ребят, шоферы с грузовых машин.

Я никогда не забуду сына полковника. Мальчик делал все, что было в его силах. Не снимая с плеча карабина, он бегал, выполнял поручения, доставлял еду и воду, приносил патроны и в редкие свободные секунды искоса бросал восхищенные взгляды на отца. Мальчик был доволен, что он воюет, и горд тем, что именно его отец оказался в эту трудную минуту самым решительным из всех взрослых, одетых в военную форму людей, находившихся здесь.

Он был прав. Он мог гордиться своим отцом. Полковник вел себя так, как будто ничего не случилось, как будто у него под началом не самые разные, никогда не видав-

шие друг друга люди, а кадровый полк, которым он командует уже по крайней мере три года. Он спокойным, глуховатым голосом отдавал приказания. В этом голосе слышалась железная нотка, и все повиновались ему. При мне несколько раз произносили вслух его фамилию, тогда я ее помнил, но потом забыл.

На следующий день я расстался с полковником и больше не видел его.

В ноябре на Карельском фронте, на Рыбачьем полуострове, к нам с большим опозданием попали наконец центральные газеты. Не помню, в какой из них на первой странице был напечатан снимок с подписью: «Командир 1-й гвардейской мото-стрелковой дивизии Герой Советского Союза полковник Лизюков принимает гвардейское знамя».

На снимке перед строем со знаменем в руках стоял одетый по-зимнему полковник. Маленький, коренастый, с упрямым подбородком...

Я узнал его. Да, конечно, именно он был там, в лесу, под Борисовом, в июне. И я вспомнил тогда слышанную, а потом забытую фамилию. Полковник Лизюков. Мне хотелось почему-то увидеть на снимке рядом с ним его сына, так же рядом, как они были тогда, в июне...

Все это особенно ярко вспомнилось мне именно сейчас, в эти дни декабря, когда, проехав по многим дорогам, ведущим на запад, я увидел следы отступления немцев, увидел, как их беспощадно истребляют. В эти дни, когда мы научились побеждать, мы наконец можем позволить себе вспомнить то, о чем нам было слишком тяжело вспоминать раньше.

Я вспоминаю сейчас первые тяжелые июньские и июльские дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые дороги, по которым мы отступали и по которым сейчас идем обратно.

И сейчас с особенным чувством гордости и благодарности произносишь имена людей, которые тогда были душою наших войск, глядя на которых, тогда, в тяжелые дни, верилось, что это кончится, что мы победим и вернемся, непременно победим и вернемся. Мы не знали, когда это будет, но, глядя на них, знали, что непременно будет.

Когда Русь была разорена татарским нашествием, когда ее города были сожжены, потоплены в собственной крови, народная память оставила в песнях незабываемые страницы самой черной тоски и горя. И рядом с этим во всех летописях — новгородских, суздальских, владимирских, рязанских —

сохранился рассказ о рязанском богатыре Евпатии Коловрате, который, вернувшись из похода в родной город и найдя его сожженным, погнался с малой дружиною за бесчисленной татарской ратью. Догнав татар, Евпатий Коловрат перебил их великое множество и геройски погиб в неравном бою вместе со всей своей дружиной.

Кончилось татарское нашествие, была Куликова битва, была победа, но в памяти народа рядом с именами победителей, с именем Дмитрия Донского сохранилось имя Евпатия Коловрата, народного героя первых горестных дней татарского ига.

Оно сохранилось потому, что в трудные дни кровавой годины подвиг его был не только утешением, не только гордостью, но и залогом победы.

Меняются времена и враги, — я не хочу делать исторических сравнений, — но сердце народное не меняется. Оно остается все таким же мужественным в испытаниях и памятливым к тем, кто в годину этих испытаний был всех чище душою и тверже духом.

Так будет и сейчас. Имена победителей не заслонят в народной памяти имен героев июньских, июльских, августовских боев. Хорошо помню, как в дни самых тяжелых не-

удач мы, люди, которые должны были через газету рассказывать народу о том, что происходит на фронте, искали и во множестве находили тех, рассказ о которых вселял веру в победу. Это были армейские большевики, солдаты сталинской выучки, которые в самые трудные дни брали на свои плечи всю тяжесть борьбы.

Середина поля. Могилев. С восточного берега Днепра на западный был перекинут единственный деревянный мост. На нем не было ни одной пушки, ни одного зенитного пулемета. Мы переехали на западный берег, в полк, оборонявший Могилев. В этот день был тяжелый, кровопролитный бой. Полк разбил сорок немецких танков, но и сам истек кровью. Вечером мы говорили с командиром полка полковником Кутеповым. Это был очень высокий, худой, немножко неуклюжий человек, много лет служивший в армии и все-таки имевший такой вид, будто он только вчера переоделся в военное. На его обросшем, небритом и усталом, смертельно усталом лице в самые тяжелые мгновения вдруг появлялась неожиданная мягкая, детская, улыбка.

Мы сказали ему про мост. Там нет ни одного зенитного пулемета, и если немцы раз-

бомбят мост, то он с полком будет отрезан здесь, за Днепром.

— Ну и что ж, — Кутепов вдруг улыбнулся своей детской улыбкой. — Ну и что ж, — повторил он мягко и тихо, как будто говоря о чем-то самом обычном. — Пусть бомбят. Если другие отступят, мы решили тут остаться и умереть, всем полком решили. Мы уже говорили об этом.

Я до сих пор помню, как Кутепов стоит у себя на командном пункте, как к нему подбегает связной.

— Товарищ полковник, на правом фланге еще тридцать танков, — говорит он, задыхаясь.

— Что, где еще танки? — тревожно обращается к полковнику один из рядом стоящих командиров, расслышавший только слово «танки», но не расслышавший, сколько.

— Танки? Да есть каких-то там три паршивеньких на правом фланге, — улыбаясь, говорит Кутепов.

Я до сих пор помню его тревожные глаза и улыбку. Тревожные глаза — потому, что на правом фланге тридцать танков и надо принимать меры. И улыбку — потому, что командир сейчас поедет на левый фланг и пусть лучше думает, что на правом фланге не тридцать танков, а три.

Не знаю, может быть, это было неверно с военной точки зрения, но в ту минуту, посмотрев на него, я поверил, что мы непременно победим. Непременно, иначе не может быть.

2

Как переменились фронтовые дороги! Я никогда не забуду Минского шоссе, по которому шли, бесконечно шли беженцы. Они шли в чем были, в чем вскочили с кровати, неся в руках маленькие узелки с едой, такие маленькие, что непонятно, что же они ели эти пять, десять, пятнадцать суток, которые шли по дорогам.

Над шоссе с визгом проносились немецкие самолеты. Теперь они так не летают. Они не смеют и не могут. Но тогда были дни, когда они летели низко, как будто хотели раздавить тебя колесами. Они бомбили и обстреливали дорогу. Тогда, не выдержав, беженцы уходили с кровавого асфальта в глубь леса и шли вдоль дороги, по обеим ее сторонам, в ста шагах от нее. На второй же день немцы поняли это. Теперь их самолеты шли не прямо над дорогой, они шли тоже немножко в стороне, по сторонам от дороги, в ста шагах от нее, и ровной полосой

клали бомбы там, где, по их расчетам, двигались люди, ушедшие с дорог.

Я помню деревни, в которых нас спрашивали:

— Вы не пустите сюда немцев? А? — и заглядывали в глаза.

Спрашивали:

— Скажите, может, нам уже уезжать отсюда? А?—и снова заглядывали нам в глаза.

И было, кажется, легче умереть, чем ответить на этот вопрос.

Я не мог прежде вспоминать об этом, потому что это было слишком тяжело, но сейчас я вспоминаю об этом, потому что я прошел и проехал назад, на запад, уже по многим дорогам из тех, по которым мы когда-то уходили на восток.

По дорогам снова идут беженцы, но это уже другие люди. Они не уходят — они возвращаются. Только в дни испытаний понимаешь, что такое сила родной земли, как тянет людей на родные места, туда, откуда они ушли. Они не ждут и не ищут безопасности, они идут за нашей армией сейчас же по пятам. Идут еще тогда, когда не миновала опасность, не потухли пожары, не затихла орудийная стрельба. Они не хотят потерять ни одного дня. Они должны быть дома се-

годня же вечером, вслед за бойцами, пришедшими туда сегодня утром.

Сейчас война, и военные люди знают больше всех, они должны отвечать на все вопросы, они не смеют быть «не-могу-знайками». Люди, идущие по дорогам, любят спрашивать, им многое, очень многое хочется знать и непременно сегодня же, сейчас.

Они спрашивали в июне и спрашивают в декабре. Но как переменились эти вопросы! Я помню, как в июле мы проезжали через Шклов. Людей, шедших по дорогам, тревожила каждая машина. Вот несколько машин прошло на запад, им навстречу. Они останавливаются, они спрашивают:

— Может быть, не уходить, может быть, здесь не будет немцев? — у них в глазах снова сверкает надежда.

Но вот опять проходят военные машины на восток, и беженцы провожают их печальными глазами; они погоняют лошадей, они торопятся. Они спрашивают, куда им итти: до Рославля или дальше?

Декабрь. Снова те же дороги. И в городе Одоеве нас окружают люди, только что вернувшиеся сюда. Они спрашивают нас, когда будет взят Мценск, когда будет взят Белев. У них там остались родные, они верят, что

если родные еще живы, то они скоро увидят их. Они верят, что Белев непременно будет взят, их интересует только, скоро ли. Да, говорим мы, скоро. Мы тоже в это верим. Тогда они начинают спрашивать про Калугу, про Орел, про другие города.

— Когда? — повторяют они и смотрят на красноармейцев с непоколебимой верой.

И под этими взглядами наши конники невольно шпорят лошадей и рысью торопятся к заставе, ведущей из города на запад.

3

В ноябре в штабе нашей крайней северной армии ночью, когда в полнеба переливалось полярное сияние, работник особого отдела, вышедший со мной на мороз покурить и подышать воздухом, вдруг, словно что-то вспомнив, радостно сказал мне:

— Вы знаете, для вас будет интересный материал. У нас есть три пленных немецких офицера.

— В каких чинах? — спросил я.

— Пока еще не знаю.

— Что, они еще в дивизии?

— Нет.

— В полку?

— Нет. Видите ли... — мой собеседник замялся,—видите ли, дело в том, что они еще вообще не здесь, эти пленные, они еще там, в тылу у немцев. Их захватили в шестидесяти километрах в тылу, между их штабом корпуса и штабом дивизии. Пятнадцать наших пограничников пошли туда и захватили. Они передали по радио, что ведут трех офицеров и перейдут вместе с пленными фронт через два-три дня. Так что нам с вами придется немного подождать.

Я сейчас вспомнил об этом случае потому, что это была не просто смелость горсточки храбрецов. Это была уверенность, которая крепла в армии из месяца в месяц. В июле мы еще не брали немцев в плен за шестьдесят километров от линии фронта. В ноябре их начали брать. И мало того, что это было сделано, главное — то, что это считалось в порядке вещей, что этому даже не особенно удивлялись.

Через три дня я увидел этих трех немецких офицеров. Их привели в заботливо захваченных с собой специально для этого валенках. Одели их в валенки не от излишнего мягкосердечия, а просто по здравому расчету — чтоб легче было довести. Они имели очень жалкий, огорошенный вид, эти три офи-

цера из знаменитой Критской горно-егерской бригады. Им еще не приходилось так воевать, и они еще не привыкли так воевать, и они еще не привыкли так попадать в плен. Им сказали, что к этому привыкнуть вскоре придется не только им, но и многим другим их коллегам. Они молчали. Молчали не из фанфаронства, не из чувства собственного достоинства, как это бывало раньше, а просто потому, что им нечего было сказать, потому, что они были обезволены и опустошены.

Как переменились за шесть месяцев эти солдаты «непобедимой» армии! В июле было непонятно, кто из них храбр, кто труслив. Все человеческие качества в них заглушал, перекрывал гонор—общая, повсеместная наглость захватчиков. Видя, что их не бьют и не расстреливают, они корчили из себя храбрецов. Они считали, что война кончится через две недели, что этот плен для них, так сказать, вынужденный отдых и что с ними по-человечески обращаются только от страха, оттого, что боятся их мести впоследствии.

Сейчас это исчезло. Одни из них дрожат и плачут, говорят, захлебываясь, все, что они знают, другие, — таких единицы, — угрюмо молчат, замкнувшись в своем отчаянии. Армия наглецов в дни поражения переменилась. Это естественно в войске, привыкшем к лег-

ким победам и в первый раз подвергшемся поражениям.

Немцы отступают. Дерутся, но отступают. Огрызаются, но бегут.

На столе у генерала лежит оперативная карта. Я видел много этих карт за время войны, но как переменилось сейчас их лицо! Вы помните карты июля, карты августа, карты октября? На них были большие синие стрелы и красные полукружия. Сейчас карта выглядит иначе. На ней размашисто и твердо начертаны красные стрелы и уходящие от них синие полукружия. Немцы отступают. Все дальше и дальше от Москвы идут на запад красные стрелы, все глубже врезаются они между синих линий врага. Они дробят их и разъединяют. Все меньше и меньше синие полукружия, все чаще они дробятся на полки, батальоны, роты.

Я вижу карту, на которой нанесена оперативная обстановка. Глубоким пятидесятикилометровым клином врезались наши войска в расположение отступающих немецких дивизий. В тылу еще бродят целые немецкие полки, еще каждый день перерезаются дороги кучками автоматчиков, но дивизии идут вперед, они верят, что окружат немцев и истребят их. Я на минуту пробую представить себе эту карту в июле или в августе. Да, если бы

тогда мы поглядели на нее, нам бы показалось, что здесь, на этом участке, окружены не немцы, а мы сами!

Окружающий сам в то же время в какой-то степени оказывается окруженным — это старая истина, но дело тут не только в том, сколько у кого полков и дивизий, а в том, кто наступает, кто считает себя окружающим и кто считает себя окруженным.

Произошла гораздо более важная вещь, чем взятие десяти или двадцати населенных пунктов. Произошел гигантский, великолепный перелом в психологии наших войск, в психологии наших бойцов.

Армия научилась побеждать немцев. И даже тогда, когда ее полки находятся в трудных условиях, когда чаша военных весов готова заколебаться, они все равно сейчас чувствуют себя победителями, продолжают наступать, бить врага.

И такой же перелом в обратную сторону произошел у немцев. Они чувствуют себя окруженными, они отходят, они беспрерывно пытаются выровнять линию фронта, они боятся даже горсти людей, зашедших им в тыл и твердо верящих в победу.

Полковнику доносят, что у него в тылу появилась рота немецких автоматчиков.

— Ну что ж, — говорит он, — сзади кто-

нибудь из наших подойдет и уничтожит, а наше дело — вперед, вперед. — И, больше не вспоминая об этой роте, он дает приказ о дальнейшем наступлении.

Враг должен быть разгромлен и, несмотря ни на что, будет разгромлен. Это знают все наши люди, знают и, что еще важней, чувствуют всем своим сердцем. Они гонят немцев, и они будут окружать и гнать их по дорогам и по бездорожью, по зимним полям, где не проходят машины, где проваливаются ноги, где дьявольски трудно итти, — но ведь когда ты идешь вперед, то у тебя появляется какая-то небывалая сила, второе дыхание. Мы навязываем немцам свою волю, мы становимся хозяевами положения. Они будут выходить из окружения через сожженные села, через непроходимые леса, они будут замерзать завтра сотнями там, где они сегодня замерзают десятками. Их будут убивать не только из автоматов и орудий, их будут убивать по дороге женщины и старики кольями и вилами — так, как на этих же дорогах убивали других пришельцев в 1812 году.

Пусть не рассчитывают на пощаду. Мы научились побеждать, но эта наука далась нам слишком дорогой и жестокой ценой, чтобы щадить врага.

Пусть так и знают и пусть помнят, что сло-

ва нашего Верховного главнокомандующего— «истребительная война» — означают для рядового красноармейца не только боевой лозунг, не только великие слова, а мертвый немец, лежащий на снегу, со штыком, только что воткнутым ему в глотку, один мертвый немец, и еще один, и еще столько мертвых немцев, сколько у каждого из нас хватит силы и жизни убить.

ОБЩИЙ ЯЗЫК

Сначала мы увидали их в воздухе. Немцы пытались предпринять третий за время войны крупный налет на город. Но к городу не пустили ни одного «Юнкерса». Они падали далеко за окраинами, врезаясь в скалы.

Возвращаясь из боя, над нашими головами прошли «ястребки» и рядом с ними незнакомые машины с разноцветными кругами на фюзеляжах. Это были английские истребители.

На следующее утро мы были на аэродроме, где рядом с нашими машинами стояли английские.

Аэродром со всех сторон окружен горами— это площадка, врубленная в скалы. Прижав-

шись к скалам, закрытые землей, травой и камнями, стояли ангары. Летчики дежурили у своих «Херрикейнов» в полной готовности. в комбинезонах и спасательных плавательных поясах.

Моросил первый мелкий снег. На середине аэродрома несколько английских техников яростно сражались в футбол.

У многих летчиков были на воротниках бронзовые буквы «В Р», означавшие, что они волонтеры. У других рукава пересекали черные нашивки с надписями: «Австралия», «Канада». Здесь были люди со всех концов света. Сам командир, коренастый, крепко скроенный человек с седеющей гривой волос и кирпичным от загара лицом — подполковник Невиль Ишервуд — родом из Новой Зеландии.

Война занесла его сюда, на Крайний Север, за много тысяч миль от далекой родины. Но он, старый солдат, доволен этим.

Он много лет был летчиком-испытателем. Он испробовал в воздухе все машины, на которых сейчас летают англичане во всех частях света. Красная петличка ордена «Эрфорс класс» — высшего ордена воздушных сил — украшает его скромный серый мундир. Он летал в Судане, в Бирме и Египте, во Франции и в Абиссинии. А теперь он здесь,

сюда привела его солдатская дружба и солдатская ненависть к общему врагу.

Он с гордостью говорит о том, что здесь в его «крыле» есть летчики из всех стран Великобритании: есть австралийцы и канадцы, уроженцы Родезии, Южно-Африканского союза и Вест-Индии, есть шотландцы, валлийцы и ирландцы.

И все они здесь дерутся и хорошо дерутся с проклятыми «Джерри», — так между собой называют английские летчики немцев.

— Мы здесь деремся так же, как дрались у себя в Англии,— говорит Ишервуд, — деремся рядом с вашим истребительным полком и под командой вашего генерала. Если вы будете писать, то напишите, что мне особенно приятно воевать здесь под командованием такого храброго и опытного солдата, как ваш генерал. Я еще в Англии восхищался мужественной борьбой русского народа. Я рад, что теперь сам дерусь вместе с ним. На земле мы еще говорим на разных языках с вашими летчиками. Но когда мы вместе поднимаемся в воздух, то сразу находим общий язык, а это самое главное.

И это, действительно, самое главное. На земле англичане неразговорчивы. Майор, командир эскадрильи, сбившей больше десяти «Джерри», на вопрос, как это было сделано.

после некоторого раздумья, без улыбки сказал буквально следующее:

— Нам везло, когда мы поднимались в в воздух, — именно в это же самое время и в этот же самый воздух поднимались «Джерри». Они просто поплатились за это двойное совпадение. Вот и все.

Вот и все. Эта фраза стала интернациональной и у наших и у английских летчиков. И те и другие одинаково не любят подробностей. «Поднялись, сбили, вернулись — вот и все».

И если вы хотите узнать о подвигах наших летчиков, то здесь надо ехать к англичанам, которые в этом случае, отбросив обычную неразговорчивость, долго и подробно будут рассказывать о том, как дерутся их русские друзья и соседи.

Если же вы хотите узнать о работе англичан, то поезжайте к нашим.

Они расскажут, как капитан Рукс в разгар воздушного боя влетел в гущу «Мессершмиттов» и один принял бой с девятью врагами, как он дрался, снижаясь, начиная с трех тысяч метров до самой воды, сбив один «Мессершмитт» и повредив другой. Они расскажут, как майор Миллер, поднявшись со своей шестеркой на тренировочный взлет, уви-

дел над головой четырнадцать идущих к аэродрому «Юнкерсов» и, мгновенно атаковав их, три сбил, а остальных разогнал.

Они расскажут, как во время внезапного налета на аэродром пилоты Бош и Хоуменс среди разрывов бомб добрались до своих самолетов и, вырулив между воронками, поднялись в воздух и приняли бой.

Все это с подробностями расскажут наши истребители, вместе с англичанами дерущиеся здесь, на Крайнем Севере, над ледяной водой Баренцова моря, над глухими скалами Заполярья.

Наши бомбардировщики с уважением и воинской благодарностью прибавят к этому рассказы о том, как английские истребители сопровождают их при полетах в тыл врага; как они ни при каких обстоятельствах не бросают бомбардировщика; как, доведя до места бомбежки, ждут его под жестоким зенитным огнем и, не отрываясь ни на шаг, принимая на себя все атаки истребителей фашистов, ведут затем сбросивший груз бомбардировщик до места посадки.

Впрочем, уважение здесь взаимно. Англичане с высокой похвалой отзываются о бомбардировщиках. Рисковать жизнью всегда не легко. Но они готовы рисковать жизнью, зная,

что здесь это никогда не бесплодно. Они знают, что под любым огнем, в любую погоду сопровождаемый ими советский бомбардировщик все-таки доходит до цели и уничтожает ее.

— У меня только одна претензия, — заранее улыбаясь в усы, говорит майор Миллер.

— Какая?

— К вашим зенитным пушкам. Они иногда так метко стреляют, что оставляют нас без работы. Впрочем, в последний раз, — добавляет он, — я с ними подружился. Было облачно и туманно, и мы не видели «Джерри». Ваши же пушки били так точно, что через минуту своими разрывами помогли нам найти, где прячутся враги.

В блиндаже эскадрильи, переговариваясь и затягиваясь сигаретками, греясь от мороза, летчики пьют чай.

Военная судьба забросила англичан далеко на север. Но солдатам свойственно особенно остро любить свою родину, и они привезли с собой сюда кусочек Англии. В блиндаже патефон играет английские песни. На командном пункте на ящике с полевым телефоном крупными буквами от руки какая-то надпись по-английски.

Мы просим перевести ее.

Капитан Котам улыбается.

— Это трудно перевести, — говорит он, — здесь написано название знаменитого лондонского полицейского участка, в котором находят себе пристанище все пьяные, начиная от министра и кончая бродягой. Ну, а здесь мы имеем в виду, что у нас тут найдет вечное пристанище в земле всякий «Джерри», начиная от «Юнкерса» и кончая «Мессершмиттом».

Англичане воюют с улыбкой. В свободную минуту они непрочь сострить. В этой надписи много традиционного, добродушного и спокойного английского юмора.

Этот же юмор звучит и в повешенной на стене карикатуре. Она изображает долговязого капитана Рукс, с ногами, не умещающимися в самолете, в погоне за несколькими «Джерри». Рядом с карикатурой висит большой лист бумаги: на нем аккуратно записаны сбитые и подтвержденные, а также сбитые предположительно немецкие самолеты. Внизу же этого вполне официального документа нарисована бутылка. В бутылку сверху стекают капли, она полна на треть.

— Что это такое?

— Эта бутылка — на «общий счет». Мы еще мало сбили. В нее еще мало накапало. Мы должны здесь налить ее до горлышка.

Когда эта нарисованная бутылка будет полна, мы разопьем по этому поводу другую бутылку, настоящую, — отвечает на наш вопрос подполковник Ишервуд.

Открыв крышку портсигара, подполковник Ишервуд закуривает.

— Вот, видите, моя жена, — он протягивает портсигар. На внутренней стороне его крышки — фотография женщины. — Я ее давно уже не видел и теперь стал много курить, чтобы чаще на нее глядеть. И все было бы здесь совсем хорошо, если бы мы получали письма. К нам не пришло еще ни одного письма из Англии. Но ничего, ничего. Главное — драться. А письма, письма когда-нибудь все-таки придут...

Покинув аэродром, на обратном пути мы заезжаем на командный пункт командира соединения.

Спрашиваем его, как он оценивает боевую работу англичан.

— Как оцениваю? Прекрасно оцениваю. Они приехали сюда драться и дерутся, как настоящие солдаты, самоотверженные и дисциплинированные. Одна беда — не любят барражировать. Говорят — скучно. Все просятся сопровождать бомбардировщики и штурмовать немцев. Впрочем, это общая беда. Наши то-

же не любят барражировать и тоже просятся штурмовать. Просятся на одинаковые дела и, дорвавшись до боя, дерутся наравне с моими орлами. Да вон, посмотрите, — они опять пошли к фронту.

И действительно, над нашими головами высоко проходили рядом «ястребки» и «Харрикейны», русские и английские летчики, нашедшие в воздухе общий язык.

ДАЛЬНИЕ РАЗВЕДЧИКИ

По тропам Финляндии уже пятые сутки с Баренцова моря дул северный ветер. В стекла била мокрая осенняя метель. На окраине города, в маленьком бревенчатом домике, в наглухо закрытой комнате за вечерним столом собрались люди, только что вернувшиеся оттуда. Еще вчера они бродили за много десятков верст отсюда, в лесах и скалах Финляндии. Сегодня они сидят здесь при электрическом свете, за белой скатертью, которой они уже давно не видели, и их командир один за другим поднимает три тоста. Первый — за

вождя Родины, второй — за дальних разведчиков, которые вернулись и сейчас сидят здесь, и за их товарищей, которые ушли и сейчас бродят там, и третий — за тех, кто не вернулся и уже никогда не вернется из этого похода, за тех, кто дорого продал свою жизнь, отбиваясь до последнего патрона, до последней гранаты, до последнего дыхания.

Об этих людях — дальних разведчиках — трудно писать. Их подвиги молчаливы. Их дороги неизвестны. О них свидетельствовать могут только безмолвные тела врагов. Представьте себе восьмибалльные штормы, ветер и снег, туманы, закрывающие вершины сопок, короткие ночлеги без костров и недельные переходы по скалам. Разверните карту северной Финляндии и наугад ткните пальцем в длинные финские названия гор, рек и ущелий. И вы почти никогда не ошибетесь: да, здесь они были, здесь проходили или проползали наши дальние разведчики, люди, знающие все эти места гораздо лучше немецких егерей и альпийских стрелков, с запоздалым тщеславием носящих на рукавах бронзовые нашивки «За Нарвик». Немцы хотели получить здесь по второй нашивке — «За Мурманск». Но вместо этого получили только посмертные колья, с трудом вбитые в здешнюю каменистую землю, накрытые касками.

В Мурманске, к которому они вот уже три месяца не могут подвинуться на шаг, рядом со мной сидит лейтенант Карпов, человек, благодаря которому недавно в этой земле прибавилось еще несколько десятков немецких могил.

Это было на-днях. Лейтенант взял с собой в операцию шесть человек: шесть — больше он не хотел, шесть человек, в каждом из которых он был уверен, как в самом себе. Только тот, кто ходил в разведку, знает, как это важно. Всю ночь шел бот через море. Разыгрывался шторм, сильно качало. При свирепой качке и полной темноте бот проскочил к берегу мимо батареи врага. Все утро и день, прижавшись к расщелинам скал, разведчики следили за передвижением немецких патрулей, выбирая место для ночного перехода линии фронта. В сумерки, в лесу, у большого водопада, спускавшегося каменными террасами к заливу, они простились с провожавшим их командиром стрелкового взвода, с последним советским человеком, которого они видели, уходя на ту сторону. Скупое рукопожатие, и он исчез.

Шли по-двое, чтобы внезапная пулеметная очередь не могла снять всех сразу. При каждом неосторожном шаге под ногами осыпались камни. Каждая мелочь могла стать во-

просом жизни и смерти. Один из разведчиков забыл перед походом снять с каблуков железные подковы. Теперь ему пришлось передвигаться по камням почти ползком. При ударах подковками о камни высекались далеко видные в темноте крупные искры. Проходившая по ущелью дорога была минирована. Пришлось ползти рядом с ней, вдоль по узкому и скользкому каменному хребту.

Здесь их в первый раз услышали немцы. Откуда-то слева вкось взвилась ракета. Она горела тридцать секунд. Лежали эти долгие секунды на открытом месте, прижавшись к камням, сами неподвижные, как камни. Как только они тихо скатились вниз по склону, вторая ракета взлетела как раз над тем местом, где они только что были. Третья и четвертая ракеты ушли уже дальше. В сторону поперек дороги возвышалась скала. Взошла луна, и при ее свете на вершине скалы снизу ясно был виден четкий силуэт немецкого часового. Вскинуть автомат и снять его было делом одной секунды. Но выдержка прежде всего. Разведчики бесшумно прошли внизу, в тени скалы. За скалой было озеро. Луна светила справа, и, чтобы тени не ложились на гладкую воду озера, они долго карабкались по камням, обходя его слева. В стороне слы-

шалось ржанье лошадей, шум походных кухонь, разговоры немцев.

Разведчики упрямо двигались дальше. Наконец двое шедших впереди остановились — дальше возвышались скалы. По их уступам проходила вторая, главная линия немецких позиций. Впереди наблюдательные посты и пулеметные точки, а сзади в каменной выемке большие блиндажи, в которых по ночам укрывался гарнизон. Разведчики проползли по черным от двойных теней расщелинам. Теперь они были в десяти метрах от блиндажей. Был слышен разговор немцев, они видели огонек папиросы ходившего у блиндажей часового. Часовой ходил взад и вперед, нервно затягивался папироской, время от времени направляя луч электрического фонаря на скалы. Разведчики лежали ничком. Полоса света несколько раз пробегала по камню всего в полуметре от их глаз. Постепенно в блиндажах стихали голоса. Еще несколько минут, и можно было приниматься за дело. Но кто-то один шевельнулся, и дуло автомата еле слышно скользнуло по камню. Часовой резко повернулся.

— Кто идет? — спросил он громко.

Потом, испугавшись собственного голоса, он еще два раза тихо повторил ту же фразу и поднял фонарь, направляя его на разведчи-

ков. Но, прежде чем луч дополз до них, лейтенант дал короткую очередь из автомата. Часовой упал. Из-под скалы поднялись семь теней и бросились ко входам в оба блиндажа. Одна за другой вниз, в черные дыры блиндажей, полетели гранаты. При свете их вспышек были видны летящие доски и камни. В одном из блиндажей что-то загорелось, наружу выскакивали и падали на землю кричащие люди. Разведчики спокойно били по ним из темноты короткими очередями. Затем наступила секунда тишины. Больше никто не вскакивал.

Подойдя к молчащим блиндажам, разведчики бросили туда еще несколько гранат. С соседних сопок начали беспорядочно стрелять наспех повернутые немецкие пулеметы. Через несколько минут к ним присоединились минометы. Еще минутой позже откуда-то из тыла заухала артиллерия.

Пора было уходить. Но как? Низом, лощиной, по тому же пути, по которому шли сюда? Лейтенант решил иначе. Он повел своих людей другой дорогой, верхом. Они ползли все выше и выше по каменным кручам и, переваливая через хребет, увидели сверху, как внизу, в лощине, на пути их предполагаемого отступления, одна за другой бесцельно

рвались немецкие мины. Немцы, очевидно, решили, что мы заняли сопку с блиндажами. Всю сопку они засыпали минами и снарядами. На ней не оставалось живого места. И все немцы, оставшиеся там в живых после налета разведчиков, сейчас погибали от собственных мин и снарядов. А разведчики шли все дальше и дальше.

Начинало светать. Теперь на целый десяток километров на немецких позициях никто не спал. Пулеметчики стреляли на каждый шорох, на каждый звук. Времени до рассвета оставалось все меньше. Разведчикам приходилось, сокращая путь, итти по ущельям напрямик, под выстрелами. Первым был ранен старшина Волошенюк. Он ничего не сказал товарищам и, стиснув зубы, продолжал итти вперед, с трудом волоча раненую ногу. Было уже почти светло. До берега оставалось совсем немного, когда пулеметной очередью откуда-то сверху был убит наповал старшина Козловский и второй раз ранен в ногу Волошенюк. Теперь он уже не мог итти. Товарищи бросились к нему на помощь. Но новой очередью были ранены еще двое — в грудь Храбрин и сразу в руку, ногу и лицо сам лейтенант. Разведчики залегли, лейтенант подполз к Козловскому и перевернул его лицом

вверх. Он был мертв, ему уже ничем нельзя было помочь.

Огонь затих. Закрыв тело Козловского камнями и ветками, разведчики поползли дальше, поддерживая обессилевшего Волошенюка. Итти в обход было поздно, оставалось прорываться прямо вдоль берега. На их счастье, был отлив. Во время отлива на побережье здесь обнажаются отмели и мелкие островки сливаются с берегом. Поддерживая истекавших кровью товарищей, прячась за каменистыми островками, разведчики по колено в воде пробирались по морскому дну вдоль берега. Они шли медленно, падая, срываясь со скользких, обросших морской травой камней. Было уже утро, когда они дошли до наших позиций. Трое здоровых поддерживали трех раненых. Один остался лежать там, в скалах Финляндии, скрестив на груди неподвижные руки. А далеко за линией фронта все еще не утихала артиллерийская канонада. Еще били немецкие орудия и минометы по каменистой сопке, занятой неуловимыми русскими и ставшей братской могилой для нескольких десятков немецких солдат.

Это была операция одной ночи, короткая и внезапная. Но в каких переделках не был любой из этих людей, вот сейчас сидящих рядом со мной за одним столом! Они делали

пятнадцатисуточные переходы, не разжигая костров, не кипятя воды, не варя горячей пищи. Они шли по ночам через болота, по колено в воде, и лежали в трясине целыми днями, прячась и выжидая. Они шли до конца, питаясь несоленым и полусырым мясом случайно застреленного оленя. Они за сто километров в тылу врага, почти на глазах у немцев, зазубрив кинжалы, перепиливали ими, как ножовкой, телеграфные и телефонные провода и валили столбы на землю и камнями перебивали кабель. Они ухитрялись с боем брать в плен солдат и офицеров и по секретным тропам проводить их к себе домой на допрос. Они доплывали до чужого берега на маленьких ботиках по бурному Баренцову морю и вплавь, в ледяной воде, добирались до прибрежных скал. Они, закончив операцию, взбудоражив врага, в смертельной опасности терпеливо ждали в потайных бухтах, когда погода позволит кораблю подойти и снять их. Из них вырабатывались люди, каждый из которых стоит десяти, несгибаемые, бесстрашные, не щадящие своей жизни и беспощадные к врагу.

Они сидят теперь здесь, у себя за столом, отмечая окончание вчерашнего похода и готовясь к завтрашнему. А там, за чертой фронта, одна за другой, с левого фланга до

правого, над немецкими позициями беспрестанно взлетают осветительные ракеты; погасает одна — загорается другая. Разведчики приучили немцев бояться ночи. Лучше зажженные фары, электрические фонари, ракеты, которые могут привлечь авиацию, чем молчаливая смерть от руки разведчика, чем темнота непроглядной северной ночи, в которой вот уже четвертый месяц ни один немецкий солдат не знает ни сна, ни покоя.

ЧЕЛОВЕК, ВЕРНУВШИЙСЯ ОТТУДА

За четыре месяца войны мне пришлось видеть много страшного. Я видел изуродованные трупы детей, сожженные тела взятых в плен красноармейцев, спаленные деревни, развороченные бомбами дома. И все-таки, пожалуй, самое страшное, с чем пришлось столкнуться в этой войне, — это бесхитростный и простой рассказ пулеметчика Михаила Игнатьевича Компанейца. Рассказ о том, как он провел неделю в фашистском плену и как из него выбрался.

Был осенний вечер. Сторожевое охранение,

в котором был со своим пулеметом Компанеец, отходило на новый рубеж. Когда пулемет перенесли метров на триста в глубь леса, заметили, что нет одного подносчика патронов. Оставив своих товарищей на месте, Компанеец пошел назад искать подносчика. Он нашел его раненым на опушке леса. Шальная пуля угодила ему под лопатку, и он упал в овраг, не успев позвать на помощь, и не был замечен товарищами.

Компанеец спустился к нему и, отложив в сторону винтовку, стал перевязывать рану. Именно в эту самую минуту, подкравшись незаметно, трое немецких солдат прыгнули сверху в овраг, на склоненного над телом товарища Компанейца. Так он попал в плен. Его повели, подталкивая прикладами. Когда Компанеец и немцы взбирались по скользкому скату оврага, он выхватил из кармана документы, зажал в руке, а затем, улучив момент, бросил в кусты.

Через несколько минут они дошли до расположения немецкой части. Из палатки вышел ефрейтор, молча обшарил карманы пленного, сорвал с него пилотку со звездой и отбросил в сторону. Никто из немцев не говорил по-русски. Тогда по приказу офицера один из солдат вынес две лопаты и знаками показал, что Компанеец должен рыть яму.

Кругом кольцом стояли немецкие солдаты в предвкушении зрелища. Яма была уже вырыта наполовину, когда подошел старший офицер и что-то сказал по-немецки. Очевидно, удовольствие решено было отсрочить. Вырвав из рук Компанейца лопату, его повели дальше. Через два часа его привели на железнодорожную станцию. Здесь находилась группа пленных в тридцать человек. Почти все по одному или по нескольку раз были ранены. Конвойный подвел Компанейца к домику, к офицерам. Один из них говорил по-русски. Он спросил Компанейца:

— Откуда ты и где твоя часть?

Компанеец ответил, что если бы он знал, где сейчас его часть, так он бы сюда не попал. Не получив ответа, офицер оставил пленного в покое. Допрашивать его всерьез должны были, очевидно, где-то в другом месте.

Нескольким здоровым и легко раненным красноармейцам офицер приказал делать носилки для остальных. Около часа они сколачивали носилки и подтаскивали на них всех тех, кто не мог ходить, к дороге где стоял крытый грузовик. На машину сначала положили тяжело раненных. Но скоро выяснилось, что в таком положении все не уместятся. Тогда офицер велел скинуть раненых с носи-

лок, и всех подряд поместили в машине стоя. Так, не спуская никого на землю, их повезли, а затем оставили ночевать.

Раненые просили вынести их из машины и положить на землю. Но каждая попытка вылезти из кузова встречалась холодным острием штыка.

Только утром тяжело раненных свалили с машины на землю. Что с ними было дальше, Компанеец не знает. Больше он их никогда не видел. Остальных повели дальше. К полудню их подвели к кухне и дали по двести граммов хлеба и кружке чая без сахара.

Потом в леске немцы развели три костра, и три переводчика стали одновременно допрашивать нескольких человек. Допрашивали долго, особенно упорно стараясь выяснить, не командир ли пленный. Шел холодный дождь пополам со снегом. Переводчики стояли, грея руки над кострами, но не давали пленным подходить к огню ближе, чем на десять шагов.

Через несколько часов совершенно замерзших и обессилевших пленных построили по-трое и повели дальше. По дороге к ним подошел высокий офицер с крестами.

— Ну, теперь кончились ваши тревоги, господа, — сказал он по-русски, — вы теперь

будете защищены и с земли и с воздуха и после войны пойдете домой. Да, да, вам здесь будет очень хорошо. Только скажите: может быть, среди вас есть командиры или сержанты? Мы ничего плохого им не сделаем. Мы только посадим их в другой лагерь.

Пленные ответили молчанием. Их повели дальше и к вечеру загнали в лагерь, окруженный проволокой и обведенный рвом. Там был новый допрос. Каждого допрашивали сразу трое.

— Один переводил, другой на бумажку заносил, а третий в карманах трусил, — вспоминает Компанеец.

Под конец допроса его спросили, какое у него вероисповедание.

— Я подумал, подумал и говорю: а кто же его знает, какое у меня вероисповедание? Так и записали. Потом каждому навязали на шею веревку с железным номером, заставили, обмакнув пальцы в чернила, оставить отпечаток на допросном листе и, голодных, втолкнули в низкие сырые землянки.

Так началась жизнь в концлагере. Основой ее был хорошо организованный, придуманный голод. Ежедневная пытка, преследующая цель свести людей с ума, превратить их в

животных. Через день в лагере варили суп из конины. Свежевали лошадь нарочно на глазах у пленных. Срезали все мясо и складывали в сторону, объясняя, что будут его солить, чтобы кормить их зимой, а из костей варили суп.

Потом кости бросали через проволоку пленным. Обезумевшие от дикого голода, люди с жадностью бросались на эту еду, а немецкие офицеры ходили кругом и фотографировали.

На второй или третий день пленных начали с утра выводить на шоссейные работы — делать кюветы и таскать бревна и камни. Посылали их партиями — одних далеко, других ближе к лагерю. Партии, уходившие далеко в лес, иногда находили там трупы павших лошадей и кое-какие объедки в брошенных окопах. Те же, которые работали поблизости, не имели этого «добавочного питания». Поэтому каждый изголодавшийся хотел попасть в дальнюю партию. Немцы учли это и, не назначая постоянных партий, посылали на дальние участки тех, кто первыми выходили утром из загородки.

И вот утром пленные толпой бросались к выходу. Каждый старался выйти первым. А комендант, наслаждаясь этим зрелищем, наводил порядок, избивая их палкой.

Палка неизменно присутствовала и в руках у всех конвойных. В одной руке винтовка, в другой палка. Били пленных все. В зависимости от темперамента — одни с криками и ругательствами, другие молча тыча под ребра по всякому поводу. За то, что голова высунулась из строя, за то, что высоко поднял голову, за то, что низко опустил голову — за все.

Однажды на обратном пути с работы группу пленных встретил финский офицер. Он набросился на одного вышедшего из строя, долго бил его, потом, сорвав с него шапку и разворошив шевелюру, стал истерически кричать по-русски:

— Может быть, ты политрук. Может быть, у тебя на голове такая метка, — и долго безобразно ругался.

Однажды в лагерь приехал немец, хорошо говоривший по-русски. Он собрал пленных и чрезвычайно любезно предложил им задавать вопросы на любые темы.

Кто-то наивно спросил его:

— Как сейчас на фронте?

— На фронте? — ответил он. — Ну, что ж, Кандалакша окружена и горит. Ленинград сожжен и наполовину занят.

— А Мурманск?

— А Мурманск тоже сожжен и окружен, — без запинки ответил офицер.

— Что же вы нас тут в лесу держите, если все взято и окружено? — спросил кто-то из пленных. — Свезли бы куда-нибудь в город, в Мурманск или в Кандалакшу.

— Мы бы свезли. Но еще дорога кое-где занята красными. А увозить вас по морю — еще потопят и опять свалят на немцев.

— А почему плохо кормите?

— Вот скоро возьмем все, что надо, и будет лучше.

На этом кончилась «задушевная беседа».

В середине второй недели Компанеец понял, что еще несколько дней, и он не в состоянии будет передвигаться. Раз в три дня давали двести граммов хлеба и раз в два дня миску супа. Пить давали только один раз в день. Соли не давали. Люди заживо гнили в землянках, лежа прямо на земле.

Мысль бежать явилась у Компанейца в первый же день. Откладывать и ждать более удобного случая было дальше нельзя. Он нашел себе товарища—красноармейца Чепеля.

Лагерь перевели на новое место. В земле было вырыто два котлована, которые огородили проволокой. В одном пленные спали, в другом их по утрам считали и строили на работы, а по вечерам считали и отправляли

спать. В этом втором котловане была оставшаяся после каких-то дорожных работ полуразрушенная землянка.

Однажды, когда уже всех посчитали, Компанеец и Чепель залезли в землянку и притаились в углу, попросив товарищей закидать их сверху землей и полусгнившими досками.

Когда все стихло, полумертвые от духоты и сырости, они пролежали еще два часа, дожидаясь ночи. Наконец стемнело. Они вылезли и пошли в лес.

— Ну, как ты — наметил план? — спросил Чепель.

— Наметил, — ответил Компанеец. — Мой план простой. Я три дня во все стороны смотрел — где меньше немцев бродит. Пойдем сюда вот — в болото.

Чепель на минуту заколебался.

— Пропадем мы с тобой, — сказал он угрюмо, — найдем себе могилу...

— Ничего, — ответил Компанеец. — Мы с тобой только что из могилы вылезли, и по второму разу в нее лезть уже не так страшно.

Ночь была светлая. Два часа ползли они по болоту. Потом пошли на восток, определив направление по Полярной звезде.

Так они шли трое суток. Все на восток и на восток по солнцу и звезде. Вплавь и в брод

перебирались через горные речки, почти до потери сознания замерзая в холодные северные ночи.

На вторые сутки нашли в брошенном окопе две финских гранаты. Итти стало спокойнее. По крайней мере, теперь живыми им не вернуться в проклятый лагерь. Два раза по дороге перебивали черные провода немецких полевых телефонов.

На четвертые сутки Компанеец и Чепель в глухом лесу увидели пограничный дозор.

Как они встретились с пограничниками, какими были их первые слова, рассказать трудно. Помнится им, будто они плакали, а потом грелись, долго грелись в теплой землянке.

Вот и весь рассказ Компанейца, простой и обыденный. Компанейцу не выкалывали глаз, не вгоняли под ногти булавок и на его глазах не делали этого с другими. Может быть, в лагере, где он побывал, не случилось опытного заплечных дел мастера. А может, это просто не входило здесь в расчеты. Но несомненно одно: в расчеты фашистов здесь входило холодное, планомерное истребление раненых, имевших несчастье попасть в плен, истребление холодом и голодом, истребление втихую...

ДЕРЗАНИЕ

В маленькой бухте, серые и почти невидимые на фоне бурых, пятнистых, покрытых снегом скал, к берегу прижались торпедные катера.

Дело к вечеру, ранние северные сумерки опускаются над Баренцовым морем; скоро наступит ночь, излюбленное время работы торпедных катеров.

Сегодня сведения о погоде неутешительны, отголоски бушующего на море шторма докатываются даже сюда, в бухту, но командир, старший лейтенант Моль, все-таки не теряет еще надежды сегодня выйти в море на охоту.

— Они у меня ныряют, как утки, — ласково говорит он, показывая рукой на качающийся у берега торпедный катер. — А потом, если здесь, на севере, смотреть на погоду с излишним уважением, то недолго стать сухопутным человеком, — так никогда и не высунешь носа на воду. Правда, говорят, что с Баренцовым морем нужно говорить на «вы», но мы иногда говорим с ним и на «ты», — и ничего, представьте себе, получается, даже на таких скорлупках, как у меня.

И Моль в ожидании темноты, когда можно

будет действовать, рассказывает нам о нескольких случаях, в которых он обращался с Баренцовым морем на «ты», и все-таки ничего, как он выражается: «получалось».

Не так давно немцы, понадеявшись на бурное море, не опасное для больших кораблей, но, по их мнению, не допускающее выхода катеров, решили провести ночью караван транспортов из Норвегии в Финляндию.

Моль получил приказ выйти в море.

Вышли засветло. На востоке было уже темно, но на западе, где только что село солнце, виднелось низкое красное зарево. На фоне этого зарева Моль издалека увидел силуэты немецких транспортов. Они шли вдоль горизонта, и казалось, что зарево передвигается параллельно им.

Прибавив ходу, катер подошел уже почти в полной темноте к мысу, от которого начиналась глубокая извилистая финская бухта. Прижавшись к самому берегу, на малых, неслышных оборотах мотора катер пошел в глубь бухты. Он шел, огибая каждую скалу, ни на секунду не отрываясь от берега, все время подвигаясь в черной, почти чернильного цвета, тени, отбрасываемой высокими прибрежными скалами.

Он входил в базу врага так дерзко и неожиданно, что именно в силу этой дерзости мог

рассчитывать на успех. Никак не ожидая, что катер проползет под самым берегом, немцы держали сторожевое охранение гораздо дальше в море, или, как говорят моряки, «мористее».

В такой близости от берега катер, пожалуй, был защищен самими скалами от огня береговых батарей, но здесь появлялась новая опасность: какая-нибудь замаскированная в скале у самой воды пулеметная точка легко могла вывести катер из строя.

В полной темноте катер прошел в самую глубину бухты и прижался к берегу как раз там, где, по расчету командира, высоко над головой стояли сейчас уже не страшные ему немецкие батареи.

Здесь он стал ждать. Расчет был построен на том, что конвою, несомненно сопровождающему транспорты, и в голову не придет, что они будут атакованы от их же берега, из-под носа их собственных батарей.

Через час появились транспорты. Выждав, когда пройдет двигавшийся впереди маленький сторожевик, пропустив его и заметив сзади силуэты миноносца и большого транспорта, катера отошли от берега и, молниеносно развернувшись, атаковали торпедным залпом сразу и миноносец и транспорт. В узкой бухте раздались оглушительные взрывы, особенно

громкие оттого, что она с трех сторон была окружена горами. Корабли уже погружались в воду, а эхо еще долго грохотало со всех сторон. Едва раздались взрывы, как сейчас же над бухтой поднялись целые снопы огня. Били трассирующими снарядами батареи, били оставшиеся целыми корабли, били пулеметные точки на берегу, били пулеметы со сторожевых катеров.

— Словом, нам был устроен торжественный фейерверк, прямо, как в парке культуры и отдыха, — вспоминает об этом Моль.

Но теперь, уже не нуждаясь в бесшумности, катера дали полный ход и на великолепной скорости своих ревущих моторов уходили из бухты.

Через несколько дней операцию решено было повторить. Расчет снова строился на дерзости. Едва ли немцы подумают, что мы решим именно в том же виде, именно таким же образом и через такой короткий срок повторить свой первый налет. Опять, выйдя незадолго до темноты, катера прошли ночью вдоль извилистых берегов, заглядывая в каждую бухту. Но немцев не было.

Уже близился рассвет. А между тем было точно известно, что где-то в фиордах прячутся немецкие корабли, идущие и отсюда в Норвегию, и из Норвегии сюда.

Моль решил, что, опасаясь рассвета, немцы уже не выйдут в море из близлежащих к нам бухт, но они, пожалуй, могут двигаться там, где рассвет им еще не так страшен, где они могут не бояться наших дальнобойных береговых батарей.

Итак, вперед на запад, ближе к норвежским берегам!

Через час уже светало. Катера к этому времени дошли до одного из маленьких фиордов и спрятались в тени выдававшегося в море мыса.

Настойчивость оправдала себя. Через несколько минут из-за мыса показались два шедших без сопровождения на полных парах немецких транспорта.

Короткая команда, пущенные на полный ход моторы, стремительный, с близкой дистанции, торпедный залп, и с одним транспортом, а через пятнадцать секунд со вторым было покончено.

Но счет продолжал итти на секунды. Ныряя в волнах, катера на полном газу торопились уйти в море. Было уже настолько светло, что их маленькие силуэты можно было различить на волнах. Но немцам казалось этого недостаточно, их береговая батарея пустила в ход прожекторы и била по катерам, стараясь поймать их в лучи.

Сзади катеров в море стояли два столба. Внизу — пламя, выше — черный дым и распыленная, завихрившаяся от удара вода. Все, что осталось от транспортов.

— Быстрота, неожиданность, дерзость, — говорил Моль, вспоминая события недавних дней, — вот и все, что нужно для удачи. Ну, и, если по правде сказать, еще одно нужно — золотое русское сердце, то самое, которое есть у каждого из моих ребят.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Этот спокойный человек за свои тридцать с небольшим лет прошел через много, пожалуй, через слишком много профессий. И каждая профессия оставила на нем свой отпечаток.

Он был беспризорным, потом пастухом, потом стеклодувом; потом он пошел в армию, в авиацию, там он перепробовал тоже много «профессий»: был разведчиком, бомбардировщиком и, наконец, истребителем. Он изрядно походил и полетал по белому свету, и те четыре с половиной тысячи полетов, которые

он сделал до войны, сослужили ему сейчас немалую службу. Он привык летать во всех условиях и при всякой обстановке, привык, однажды пролетев над местностью, запомнить ее раз и навсегда.

И вот он, истребитель, старший лейтенант Коваленко, оказался здесь, на Крайнем Севере.

Осматриваться и привыкать было некогда. Воздушные бои начались с первого дня. Надо было летать, и летать хорошо.

— В те первые дни их было здесь больше чем нас. Нам ничего не оставалось делать, как только летать и драться лучше их, — замечает Коваленко, вспоминая свои первые воздушные бои на севере.

Над этой суровой страной — суровый воздух.

Очень редко в полете удавалось держать прямой курс. Ища противника, подкрадываясь к нему, приходилось итти на бреющем полете по извилистым горным ущельям.

Игра в прятки, воздушные засады, каждая секунда начеку — все это север, жесткие законы которого он, Коваленко, должен был заставить работать на себя и против врага.

Ориентиры — так называть их здесь можно было только условно. Под крылом проходили

сотни одинаковых, заваленных снегом ущелий и покрытых снегом скал. Как две капли воды, похожи они друг на друга, и нужен был острый и привычный глаз для того, чтобы различить среди них ту единственную скалу, которая в этом квадрате должна служить ориентиром.

А это сделать не легко. Недаром командир одного из немецких бомбардировщиков лейтенант Шуппиус, получивший задание перелететь из Штеттина в Киркенес, вместо этого сел в десяти километрах от Кандалакши.

Коваленко вспоминает об этом случае с улыбкой, — он еще до сих пор видит перед собой удивленную гримасу немца, которому сказали, где он находится.

Говорить с Коваленко трудно и в то же время легко. Легко потому, что все, что он говорит, точно, обдуманно, проверено. Он говорит медленно, так, словно каждый раз перед его глазами снова восстанавливается от начала до конца картина того воздушного боя, о котором он рассказывает. И если он что-то забыл, пусть даже мелочь, он делает паузу, он не продолжает до тех пор, пока не вспомнит и эту мелочь.

Но с ним трудно говорить потому, что он слишком скупо рассказывает о самом себе.

Нет, это не излишняя скромность, хотя этот человек по-настоящему скромен и его командир называет гораздо большую цифру сбитых им самолетов, чем та, которую называет он сам.

И все-таки дело не в скромности. В том, как рассказывает о своих воздушных боях Коваленко, есть большее, чем скромность, — есть точка зрения, заставляющая его рассказывать именно так, а не иначе. Это отличительная черта советских летчиков, их тактическая доктрина воздушного боя. Для Коваленко не так важно количество самолетов, сбитых им самим, для него всегда важнее общий результат боя, результат боя всего водимого им в воздух звена.

— В нашей эскадрилье много молодых летчиков, и мы с первого дня заставили их понять, что значит выручка в бою, насколько важней общий результат боя, чем только твой личный, — говорит Коваленко.

И не случайно, что когда просишь его рассказать о самых удачных воздушных боях, то он говорит не о тех воздушных боях, в которых больше всего самолетов сбил он, а о тех, которые примечательны, по его мнению, с точки зрения взаимной выручки и тактического взаимодействия.

— Однажды мы вдвоем с Семененко, — вспоминает он, — врезались в гущу «Мессершмиттов». Я подбил одного немца, но в это время увидел, что у Семененко сидит на хвосте «Мессершмитт». Тогда я бросил своего немца и пошел на выручку к Семененко. Немец, не ожидавший этого, был быстро сбит, и, освободившись от него, мы вдвоем с Семененко все-таки успели догнать и доконать и моего за минуту до этого брошенного немца.

На следующий день та же история повторилась уже в обратном порядке. Коваленко атаковал «Мессершмитт», но не успел он его сбить, как сзади появились еще два. Семененко, увидев это, зашел им в хвост и, сбив одного, заставил другого отвернуть в сторону. Тогда Коваленко, защищенный с хвоста своим другом, расправился с тем «Мессершмиттом», который он атаковал с самого начала.

Коваленко рассказывает о том, как помогают знание местности, решимость продолжать бой в любых условиях, вести его в расщелинах гор, маневрируя среди скал, временами снижаясь до самой земли.

— Мне сейчас вспоминается случай, — говорит он, улыбаясь, — когда мы, истребители,

при помощи немцев бомбили немецкие позиции. Да, да, бомбили.

Кругом теснились облака, валил снег, вершины гор были закрыты. Мы шли семеркой над нашими позициями, направляясь на штурмовку, как вдруг заметили внизу, на земле, разрыв бомбы. Бомбы обычно падают сверху, так что мы сразу посмотрели наверх, — откуда капает? Над нами шла целая эскадра бомбардировщиков и истребителей. В первой атаке Сафонов и я сбили по одному бомбардировщику. Крутясь и атакуя их по частям, мы гнали их к немецким позициям. Загорелся еще один бомбардировщик. Тогда, не выдержав, остальные стали сбрасывать бомбы на свои позиции. Я немножко погорячился и оказался в такой туще немцев, что трудно было вести огонь, только и было заботы, чтобы не столкнуться, выкрутиться. Немцам, впрочем, тоже было не легче, они так тесно со всех сторон окружали меня, что им и стрелять было нельзя. Наконец я все-таки нашел дырку и нырнул вниз по щели к своим. На этот раз мы выполнили, как говорится, двойную задачу — бомбили немцев их же собственными руками.

Но я как-то все больше люблю насчет истребителей, мне их больше нравится сби-

вать, чем бомбардировщики. Я «сто десятый» люблю, хорошая машина, в том смысле, что большая, есть куда попадать. И потом у нее огонь сильный, она не так боится в лоб итти. А нашему брату это только и нужно. Я первый удар всегда в лоб встречаю. Иду навстречу. Он не выдержит, под самый конец отвернет в сторону, чтобы в меня сзади бил уже стрелок из хвостового пулемета. А я, пока он заворачивает, наваливаюсь на стрелка сзади, переворот сделаю и бью по стрелку. В этот момент я его обычно и сбиваю, — деловито заканчивает Коваленко.

Он рассказывает все это без улыбки, со спокойствием и деловыми подробностями профессионала, мастера своего дела. И ему веришь, что он действительно «любит» «сто десятый мистер», — как он фамильярно называет «Мессершмитт-110», любит за то, что это сильная машина и что она чаще идет в лоб, чем «мистер сто девятый».

Он сидит на приступке у блиндажа, задумчиво постукивая сапогом по снегу, коренастый, небольшой человек с ясными глазами и глуховатым голосом. Сейчас он находится в «готовности № 1», в шлеме и с парашютом. Но не только сейчас, даже тогда, когда он, сняв всю эту амуницию, отдыхает у себя за

столом, он так же подтянут, выдержан, насторожен. Кажется, что, где бы он ни был, он всегда внутренне находится в этой «готовности № 1».

— Коваленко? — говорит командир соединения. — Ну, что ж, Коваленко хороший летчик. Он сбил за месяц с небольшим около десяти самолетов.

— Он сказал — семь, — поправляю я.

— Ах, семь! Ну, пусть будет семь, если он так хочет. Между прочим, почти все им сбитые самолеты — истребители. У нас его так и прозвали: «истребитель истребителей».

И, услышав это прозвище, я снова невольно вспоминаю тяжелую, крепкую фигуру Коваленко, его глуховатый голос, который, наверно, в какие-то минуты бывает грозным и повелительным, и в моих ушах снова звучит его спокойная фраза:

— Я сто десятый люблю, хорошая машина, у нее огонь сильный, она не так боится на меня в лоб итти...

ПО ДОРОГЕ НА ПЕТСАМО

Каким образом они появились в тылу, немцы так и не узнали.

С моря? Но и в эту и в предыдущую ночь на Баренцовом море бушевал девятибалльный шторм.

С воздуха? Но уже третьи сутки небо было закрыто сплошной снежной пеленой.

По суше, через немецкие позиции? Но там всюду стояли патрули, и вот уже третью ночь не было слышно ни одного выстрела.

Словом, немцы не знали и не знают до сих пор, как появилась в их тылу рота пограничников, наделавшая в эту ночь такого шума от побережья и до петсамской дороги.

А раз этого до сих пор не знают немцы, то и нас тоже не интересует, как и где прошли пограничники. На то они и пограничники, чтоб везде пройти.

Так или иначе, сто пятьдесят пограничников и двадцать саперов сегодня к десяти часам вечера оказались в глубоком тылу немцев, в занесенных снегом расщелинах скал, откуда оставалось всего несколько километров до шоссе, ведущего из Петсамо на фронт.

Падал снег. Проваливаясь в него по пояс,

передовые разведчики выбрались на скалу, с которой была видна дорога.

На этой голой скале, сдуваемые с нее свирепыми порывами ветра, с трудом согревая окостеневшие пальцы, они неподвижно пролежали три часа.

Здесь фронт шел почти до самой границы, и они знали этот участок, как свои пять пальцев.

Ночь была темна и туманна. Бесконечное нагромождение скал сбивало с толку, а выйти на дорогу надо было точно в назначенный час и место. Ни на полчаса позже, ни на полкилометра дальше. От этого зависело все.

В непроглядной тьме разведчики должны были засечь расположение моста — конечной цели похода.

В этом им помогли немцы. В одном месте они притормаживали машины. Свет фар на секунду останавливался. На дорогу падали неподвижные пятна света. Потом машины двигались дальше. Острым взглядом уже можно было различить на секунду вырванные из темноты куски перил и мостового настила.

Разведчики дали знать. К часу ночи весь отряд уже лежал рядом с разведкой, прижавшись к скале всего в километре от дороги.

Комиссар и командир разделили людей. По-

литрук Сенькин, лейтенант Егунов и сапер Лебедев — на мост. Лейтенант Якушев — к землянкам, — там у моста должны быть землянки. Лейтенант Сороколад — на дорогу, наперерез идущим к мосту машинам. Остальные сзади. После совершения операции они прикроют отход и примут на себя удар преследующего врага.

Тихо, по цепочке передавались приказания. Четыре группы, бесшумные и почти невидимые в своих маскировочных халатах, одновременно тихо скользнули вниз по снежному склону. Через минуту на скале никого не было.

Политрук Сенькин, лейтенант Егунов и сапер Лебедев — все трое были очень спокойные люди. Именно поэтому их и послали с группой, шедшей на мост.

От их спокойствия зависело все. Они не имели права стрелять, прежде чем дойдут до моста. А если они по дороге наткнутся на часовых, если встретят машины, увидят землянки? Ну что ж, это их дело. Они могут встретить и часовых, и машины, но первый выстрел должен быть в пятидесяти метрах от моста, не раньше. За это они отвечают головой.

Командовал Сенькин. В пятистах метрах от моста он наткнулся на землянку. Бесшумно

отделив часть отряда, он оставил бойцов у входов в землянки. Залечь и ждать выстрела. Остальные пошли дальше.

В двухстах метрах от моста, в стороне, стояли три домика. Еще часть отряда так же бесшумно отделилась и поползла к домикам.

Остальные безостановочно двигались к мосту. На подъемах и в расщелинах пограничники помогают саперам, тащившим на плечах тяжелые пакеты с драгоценным «ВВ».

До моста осталось пятьдесят метров. Уже были видны черные силуэты часовых, когда шедший впереди сержант Гудков наткнулся на вырытые у самого моста землянки. Из-за пригорка выскочил немец.

— Хальт!

Гудков пригнулся и выстрелил с колена. Немец тоже. Оба промахнулись. Трассирующие пули прошли над головой Гудкова. Он встряхнул гранату и швырнул ее в немца. Потом, пробежав несколько шагов, швырнул еще две гранаты в открытую дверь землянки и двинулся дальше, к мосту.

Ко второй землянке подскочил пограничник Евсеев. Он рванул на себя дверь. Землянка была полна людей. Евсеев хотел швырнуть гранату, но она зацепилась за пояс. Тогда он захлопнул дверь, прижал ее на секунду коленкой, отцепил гранату и, снова от-

крыв дверь, швырнул гранату в кучу кричащих и беспорядочно стреляющих немцев. Не задерживаясь больше у землянки, Евсеев побежал к мосту, стреляя на бегу. Магазин опустел. Евсеев вынул его и хотел на бегу вставить новый, когда уже у самого моста ему навстречу выскочили двое часовых. Снова истерическое, испуганное «хальт! хальт!» и выстрелы. Евсеев схватил пустой магазин и с криком «гранаты!» швырнул его в часовых. Немцы легли. Этой секунды было достаточно для того, чтобы вставить новый магазин. Евсеев скосил очередью поднявшихся часовых и бросился дальше к мосту.

При вспышках выстрелов было видно, как через мост на ту сторону бежало еще двое часовых. Короткий хлопок выстрела, и один из них раскинул руки и боком, через перила, упал вниз, в черную воду.

Путь к мосту был открыт.

— Саперы, на мост! — скомандовал лейтенант Лебедев, и шестеро саперов под взвизгивание пуль вбежали на первый пролет.

Со всех сторон беспорядочно стреляли. Сзади слышались взрывы гранат — там взрывали землянки. С того берега трассирующими пулями били немецкие автоматчики.

Саперы, прижавшись к настилу моста, непо-

слушными, обмороженными пальцами привязывали тол.

Пограничники залегли у моста за камнями и огнем автоматов сбивали каждого показывавшегося немца.

Любой ценой они должны были удержать это место на пять минут. На пять длинных минут, но саперы своими непослушными пальцами привяжут тол, подожгут запал и поднимут на воздух хотя бы один пролет моста.

Сзади слышались частые взрывы. Это там, на дороге, Сороколад и Якушев громили землянки и жгли машины. Еще взрыв, еще, еще. Но самого главного — близкого оглушительного взрыва еще не было.

И вдруг, даже прежде чем звук дошел до слуха, всех разом тряхнуло, ударило сильным порывом воздуха. Оглушительный грохот, короткая красная вспышка и густой черный, видный даже на фоне этого черного неба столб дыма.

— Взорван! — крикнул сапер, пригнувшись к самому уху политрука Сенькина. — Взорван мост! — и, зачерпнув горсть снега, вытер им горевшее, потное лицо.

Отгрызаясь, пробивая себе путь гранатами, взрывая по пути оставшиеся землянки, стали отходить от моста.

Справа, на дороге, часто стучали пулеметы и все еще слышались взрывы. Как видно, второй и третий отряды еще не закончили своего дела.

И действительно, там еще шел бой.

Когда Якушев и Сороколад вылезли со своими отрядами на опушку леса, на полянке у дороги стояла группа немцев. Одетые в темные шинели, они были хорошо видны на снегу. Немцы, поеживаясь от холода, приплясывали, курили и переговаривались между собой.

Пограничники ждали. Оттуда, слева, где стоял мост, не было слышно ни звука.

Немцы были рядом, до них почти можно было дотронуться рукой. Но выдержка прежде всего. Сначала мост, а потом уже эти, которые ходят и разговаривают здесь в последний раз в своей жизни.

Наконец слева донесся выстрел. Это был тот самый первый выстрел, который с колена произвел сержант Гудков, обнаруженный немецким часовым. Услышав выстрел, немцы заметались на полянке.

Сороколад и Якушев подняли своих пограничников. Первые гранаты полетели в толпу немцев. Человек десять осталось на месте, остальные бросились врассыпную. Преследуя их, пограничники выскочили на дорогу.

Сзади раздался выстрел. Якушев оглянулся. Там, между дорогой и кустами, глубоко врытые в землю, стояли переносные жилые вагончики. Они были не заметны раньше, с той стороны дороги. Теперь ясно были видны их окна, свет, пробивавшийся сквозь щели в дверях. Повернув свой взвод, Якушев бросился к землянкам. Гранаты полетели в окна.

В землянках суетились. Из некоторых беспорядочно стреляли. Ефрейтор Богачев первым вскарабкался на крышу большой землянки. Он хотел спустить гранату в трубу. Но труба была высока и с выступом. Тогда, обняв ее покрепче, он вывернул трубу и, сбросив ее вниз, кинул две гранаты внутрь, в образовавшееся отверстие.

Силой взрыва землянку разнесло и Богачева сбросило с крыши.

У него оставалась еще одна граната. Подбежав к следующей землянке, он сквозь щель в двери увидел немецкого офицера, стоявшего с керосиновой лампой в одной руке и с парабеллумом в другой. Рванув дверь, Богачев сорвал ее с петель и бросил внутрь гранату. Офицер упал. По полу потекла огненная струйка керосина.

Из некоторых землянок еще стреляли. Пограничники бросали гранаты в трубы или

отворотив на крышах доски и толь, стреляли внутрь из автоматов.

Кто-то, не выдержав, крикнул: «Ура!» Оставшиеся землянки брались приступом, слышался только грохот взрывов и треск сорванных дверей. Взвод Сороколада, взорвав на дороге несколько машин, тоже бросился на землянки.

Отдельные немцы выскакивали наружу, но стоявшие в кустах пограничники, в свете пожара хорошо видевшие каждого человека, по одному расстреливали выбегавших. Немцы падали, нелепо раскинув руки. Многие были только в белье и касках. Один из них, видимо уже научившийся нескольким русским словам где-нибудь на разграбленных полях Украины, кричал срывающимся голосом, коверкая слова:

— Русс, русс, не стреляй! Что вы делаете! Так нельзя.

В этом крике был истерический ночной страх насмерть перепуганного человека. Но чувство жалости не шевельнулось ни у одного из пограничников.

Они хладнокровно расстреливали немцев. Грабители получали то, что они заслужили. Это даже еще не было возмездием. Это было только началом возмездия.

Расстреливали немцев всюду — в дверях и окнах, на белом снегу полянки, в кузовах и кабинах машин. Рвали машины гранатами, простреливали моторы бронебойными пулями. За всем этим грохотом и трескотней едва не прослушали взрывов, раздавшихся слева от моста.

Взрывы были сигналом к началу отхода.

Не прекращая огня, быстро стали отходить с дороги в глубь леса, во впадины и расщелины гор. Теперь главная задача ложилась на пулеметчиков. Они залегли в камнях у дороги и прикрывали отход.

Последним уходил пулеметчик Тронин. Он бил из пулемета до тех пор, пока рядом с ним уже никого не осталось. Потом пошел вслед за своими. Вдруг откуда-то из ранее не замеченной землянки ударили сразу четыре автомата.

Широко раскинув ноги, Тронин поудобнее лег у ствола низкорослой северной березки и открыл огонь. По трассам пуль он хорошо видел, откуда стреляют автоматчики. Залегшие было пограничники, теперь под прикрытием своего пулемета продолжали отходить. Тронин, экономя патроны, бил короткими очередями. Все четыре автомата, нащупав его, открыли бешеный огонь. Над головой Тронина с березки срезало все ветки, они по-

падали ему на спину. Тронин решил притвориться убитым. Он уткнулся в снег, на всякий случай подложив под бок гранату.

Прошла минута. Было тихо. Тогда вдруг в сорока метрах открылась дверь землянки. Немцы выглянули. Двое из них были хорошо видны при свете горевшей внутри лампы. Тронин дал длинную очередь. Оба немца упали. Двое других захлопнули изнутри дверь и снова открыли огонь. Тогда Тронин по снегу отполз в сторону от пулемета и пополз к землянке.

Когда он подполз к ней, немцы все еще продолжали стрелять в направлении оставленного пулемета. Забравшись на крышу, он бросил внутрь землянки одну за другой три гранаты, и там все стихло.

Вернувшись, он взвалил на плечо пулемет и пошел догонять своих. Он сбился с пути, и только перед рассветом выглянувшая из-за туч бледная, предутренняя Полярная звезда вывела его на дорогу.

Всю ночь, карабкаясь по скалам, перебираясь через ущелья, пограничники двигались назад к сборному пункту. Шли, отстреливаясь, перерезая по дороге провода.

Утром в ущелье под высокой скалой собрались все. Последним пришел Тронин. Двое

погибли в бою у землянок. Двое, наспех завязав раны, стиснув зубы, сами дошли до сборного пункта. Все остальные были целы, усталые, замерзшие, готовые здесь же на месте стоя заснуть, но живые и здоровые.

Сзади остался взорванный мост, три разрушенных дома, девятнадцать землянок, около десятка машин, двести трупов пришельцев, окровавленных и беспорядочно разбросанных на белом снегу.

Комиссар Прохоров и командир Лихушин пересчитали своих бойцов. Через полчаса на скале никого не было. Глухое, пустое ущелье. Мелкий снег заметал следы. Пограничники исчезли так же внезапно, как и появились, одним только им известным путем. Им лучше знать. На то они и пограничники.

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Нигде на всем фронте теперь нет такого короткого дня и такой длинной ночи, как здесь. На тысячи километров к югу тянется линия великого фронта. Но к северу отсюда нет ничего, только ледяное море, катящее

свои холодные валы от самого Шпицбергена. Сухопутный фронт обрывается здесь у прибрежных скал Муста-Тунтури.

Уже пять месяцев идут бои за хребет Муста-Тунтури. Бои начались еще летом, когда покрытые скудным мхом и лишайником холодные скалы еще иногда согревались редким северным солнцем. Бои продолжались осенью, когда бешеный северный ветер сбивал с ног и, раскачав, ударял о зубцы скал смельчаков, на веревках поднимавшихся с уступа на уступ. Бои продолжаются сейчас, когда многометровые пропасти завалило снегом, когда от холода трескаются камни и вода замерзает на краях кружки, прежде чем поднесешь ее к губам.

Меняются времена года, но все попрежнему, не уступив ни одного вершка каменистой заполярной земли, дерутся наши роты в скалах Муста-Тунтури. И все так же в оперативных сводках говорится о седьмом пограничном знаке, о безыменном озере, о верхнем плато.

Земля здесь измерена вершками. Каждую расщелину, каждый камень мы запомнили здесь на-глаз и наощупь. Здесь нельзя ошибаться и путать, нельзя ночью по ошибке проползти на тридцать метров дальше, чем нужно. Ибо тридцать метров здесь — это ди-

станция от нас до врага. Иногда она увеличивается до пятидесяти, очень редко до ста. Враг подошел вплотную, подошел как мог ближе к самому гребню хребта. Ему казалось, что еще сто, пятьдесят, тридцать метров, и он, перевалив через гребень, вырвется на равнину. Но как раз эти тридцать метров ему и не удалось пройти ни в июле, ни в августе, ни в ноябре.

Немцы так близко, что слышно, как они разговаривают.

Здесь нельзя было зарыться в землю, потому что здесь нет земли — только камень. И окопы стали расти вверх. В расщелинах скал возникли сложенные из камней перегородки и перекрытия, выросли метровой толщины стены с бойницами. Узкий, голый, как стол, гребень хребта стал мертвым пространством. Каждый вершок его пристрелян с двух сторон — с северных скатов нами, с южных врагами. И даже когда еще не замерзало лежавшее посреди плато узкое горное озеро, воду все равно приходилось поднимать на веревках в котелках снизу. Пятнадцать метров до озера были непреодолимым расстоянием.

Завоевание каждого метра скалы — это десятки жизней. Взять этот потерянный метр обратно — значит тоже заплатить за него кровавой ценой. Секунда трусости и нереши-

тельности одного бойца назавтра обернется десятками смертей для его товарищей. Занятый сегодня немцами окоп должен быть завтра взят обратно. Здесь некуда пятиться, некуда отступать. Здесь надо побеждать или умирать. Умирать, но держаться.

И на скалах Муста-Тунтури за пять месяцев воспиталось суровое племя бойцов, не умеющих отступать и привыкших видеть смерть перед глазами ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Здесь воспитались бесстрашные, спокойные люди, мастера гранатного боя, рукопашной схватки: люди, привыкшие жить по неделям без огня, в промерзших каменных щелях; люди, умеющие терпеливо сутками ждать возможности «тихой смертью»—молчаливым ударом кинжала — покончить с задремавшим всего на одну минуту врагом...

Когда подвиги, лишения и опасности становятся повседневными, люди скупо говорят о них. Они перестают их замечать и за собой и за другими. И если в их устах все-таки прозвучит короткая убежденная похвала, то значит, за этой похвалой стоит длинный ряд подвигов.

Как и всюду на фронте, как в каждой части, и здесь на Муста-Тунтури есть одна фамилия, которую всегда называют первой, с

которой начинают и которой кончают каждый рассказ о подвигах своих товарищей.

Эта фамилия — Данилов. Верней — Даниловы. Потому что их двое.

Огромный, молчаливый, спокойный ленинградец — сержант Александр Данилов и маленький неугомонный крепыш из-под Пензы — сержант Иван Данилов.

Военная судьба свела однофамильцев почти на краю света, в скалах Муста-Тунтури, а воинская доблесть и удача сделали их общую фамилию почти нарицательной. Дерясь на разных вершинах хребта, зная друг друга только понаслышке, они все равно как бы связаны этой общей фамилией. Оба порознь они завоевали ей славу и вместе защищали ее честь.

Комиссар артиллерийского полка в блиндаже рассказывал мне о своем бывшем старшем звукометристе, а теперь разведчике Александре Данилове.

— Жаль, — говорил он, — что вы его не увидите. Он в госпитале — пять ран. Раньше чем через две недели не жду его...

Он не докончил фразы. Низкая дверь затрещала, потом зашуршала обшивка узкого хода сообщения, и в блиндаж, нагнув голову, вошел огромный человек в полушубке и каске. Он был настолько огромен, что боль-

шой овчинный полушубок выглядел на нем почти как детская распашонка. Тяжелые руки вылезали из рукавов, крючки не сходились.

— Сержант Данилов прибыл из госпиталя, — входя, отрапортовал он густым басом.

— Ну, садись, садись, легок на помине. — Комиссар обрадованно смотрел на широкое румяное и спокойное лицо Данилова. — Очень уж быстро вернулся...

— Напротив, очень даже медленно, товарищ комиссар, — внушительно сказал Данилов. — Они, врачи, думают, что если пять ранений, то и сиди у них. Они не могут понять, что на мою комплекцию пять ранений — это все равно что на другую одно.

— А ты бы им объяснил, — улыбнулся комиссар.

— А я и объяснял. Потому и выписали, — убежденно, без улыбки ответил Данилов.

Я попросил его рассказать о последнем бое, в котором он принимал участие.

Так же неторопливо и обстоятельно, как и все, что он делал, Данилов присел на земляной приступке, свернул папиросу и заговорил ровным голосом все помнящего и ничему не удивляющегося человека.

— Дали мне тридцать человек (если больше, то развернуться там негде) и велели вы-

бить финнов. Пошли мы вечером двенадцатого. Часть дороги по щелям ползли, а часть по открытому. Но что поделаешь, камень и камень, не влезешь ведь в него. Я перебегал первым, потом ребята. А огонь серьезный. Несколько ребят отстало, не перебежало. Я за ними вернулся, чтобы им с командиром веселее было через плато переваливать. Одного, Бориславского, у меня сразу же ранило. Он кричит: «Товарищ, товарищ командир!» А я ему: «Тише ты». И в самом деле, зачем шуметь? Перевязал его и все.

У нас за этот час много ранило и убило. Тринадцать из тридцати. Я швырял много гранат, потом все вышли. Меня ранило осколками в бок, в руку и в лопатку. Меня товарищи перевязали, и я остался с семнадцатью.

Шестерых послал налево, чтобы нас не обошли, а сам остался с десятью человеками.

На вторые сутки в пять часов вечера тринадцатого финны стали наступать. Я за день собрал много — штук шестьдесят — гранат и подгреб их к себе поближе. Собрал к себе еще три винтовки. В общем хозяйство не плохое. Тут у меня еще двоих убило — сержанта моего и бойца Терейцева.

А финны все ближе и ближе. Я тогда подобрал себе все гранаты. Я бросаю подаль-

ше, чем другие. Разложил их кругом, чтобы не взорвались сразу от детонации.

— На сколько же вы их бросаете?

— Метров так на пятьдесят с лишним. На пятьдесят шесть бросал в мирное время. Да и тут, думаю, тоже не ближе, а по горячке, может, даже и дальше.

...Стали финны бить гранатами, пулеметами и минометами. У края площадки лежал камень. Я засел за него. Сзади склон, спереди каменное плато, а за ним финны.

Я стал между двух камней. Они хотя и высокие, другим, может, до головы, а мне в полгрудь. Ребята ниже меня залетли, потому что зачем зря всем рисковать? Я один пока держаться мог.

Площадка была метров тридцать, мне нельзя было пустить на нее финнов. Свои гранаты я израсходовал. Тогда ребята стали мне заряжать их и подавать снизу. Целиком, в рост, я так финна и не видел. Только станет в полроста — как пущу гранату, так и нет его. Это сначала, а потом такой дым от гранат и мин поднялся, что почти ничего не видно.

Только и слышишь: капсюль у них щелкнет — значит, бросают. И как длинная деревянная ручка мелькнет над дымом, тут и сам бросаешь туда, откуда она летит.

Все же гранаты у нас почти кончились. Тогда я прилег за камень, сверху, прямо на ребят. Я ведь вон какой, их без малого всех своим телом один прикрыл. Может, думаю, тяжеловато им, но зато ничем до них через меня не достанет.

Тут меня опять ранило в пальцы правой руки, в шею и глаз. Глаз залило кровью, ничего не видно. Поднялся, швырнул наугад последние три гранаты и вдруг слышу сзади голоса русские — подкрепление идет. Только и сказал я им: «Наконец». Больше ничего и выговорить не мог...

А когда огонь немножко затих, сполз я вниз к командиру. «Как, — говорю, — быть? У меня бинта нет. Я свой стратил, Бориславского перевязывал».

Он приказал: «Ползи к санитарам». Я пополз. Ребята мне помогли, сделали перевязку и воды дали — я ведь два дня ни глотка не пил. Вот и все событие...

— Да, все, — подтвердил и комиссар, — только за исключением одной маленькой подробности. Данилов забыл сказать, что после первого ранения у него правая рука не двигалась. Так он двое суток и дрался одной левой. Поэтому-то ему ребята и гранаты заряжали. Он сам не мог.

— Нет, я всей рукой не мог, а пальцами я мог, — поправил Данилов. — Зажму руку между колен, чтобы не тряслась, и пальцами могу шевелить.

Рядом с Даниловым лежала только что снятая с головы финская каска.

— Вот ношу, — сказал он, с пренебрежением подталкивая ее ногой. — Мою проковыряли гранатой — я эту взял. Ничего, ношу. Пока служит мне лучше, чем прежним хозяевам...

Через несколько дней я встретил второго Данилова.

Это было у подножья Муста-Тунтури. Низкое северное солнце, едва успев показаться, уже скрывалось за гребнями скал.

Сержант Иван Данилов, маленький крепкий человек, в запорошенной колючим снегом шинели, стоял против меня на фоне скал и ущелий, откуда он только что вернулся. Он говорил, ожесточенно кивая головой в сторону Муста-Тунтури, и, словно стараясь ускорить этим рассказ, помогал себе быстрыми объясняющими жестами рук.

— Нашей роте один пулемет жить не давал, никак не пройдешь. Тогда мы вдвоем пошли — я и красноармеец Волков. Пошли наверх, чтобы уничтожить пулемет, не дававший нам подняться. По щелям подползли к

самому пулемету и гранатами взорвали трех немцев. Один бежал, но его тоже настигла пуля по дороге. Мы остались на сопке. У нас было два автомата. Мы залегли и стали ждать нападения. Нагородили себе из камней окопы. Прекрасный у нас блиндаж получился. Дом сложили свой бойцовский. Здесь же это просто.

Сначала нас обстреливали ружейным и пулеметным огнем. Потом видят — не взять и стали по нас двоим бить всей минометной батареей. Всю сопку избили, только в нас двоих не попали, а так вообще кучно били не плохо.

К вечеру Волков пошел вниз для связи, а я остался. Впереди была лощинка, а за ней еще одна сопка. Там немцы. От меня до них только эта лощина — и все. Сутки я просидел на сопке. Не хотел ее оставлять, нарочно остался, думаю: ну вот, теперь мы узнаем, какая ты есть скала, Муста-Тунтури. Так и высидел до тех пор, пока свои со всех сторон не подошли. Уже патроны как раз кончались. Думал, на кулаки придется переходить.

— Что же ты не говоришь, как ранен-то был? — спрашивает кто-то из присутствующих.

— Да это раньше...

— А в голову — это тоже раньше?

— Нет, в голову — это позже. Да это так, не в счет. На каске разорвалось. Только побрызгало. Крови, правда, много было, но рана так, неглубокая, пустая рана. Дело так было. Сидел я, пока стемнело, отбивался. Потом наши подошли, и гранатный бой начался. Поползли вперед по сигналу — два пистолетных выстрела. Немцы сверху гранатами. Под таким огнем веселей идешь. Живость появляется в движениях. Добрались до немецких окопов, забросали их гранатами, я подобрал там карабин, шесть гранат и засел в щели.

Через пять минут они в контратаку пошли. Прямо на меня один немец выскочил. Я хотел его только подранить и стащить к себе, чтобы «язык» был. Но замешкался с винтовкой — а он за камень. Пришлось его гранатой рвануть, а то еще убежал бы, чего доброго. Потом еще трое выскочило. Снял их из автомата. Автомат у меня хороший, строчит, как швейная машинка. Тут меня остальные немцы заметили, я крайний слева был. Стали подползать, гранаты бросать. Приспособились: как бросят, так прямо мне на голову. Их граната долго шипит, я возьму ее за ручку и назад. Три бросил, а четвертая ударила в край скалы и мне на каску упала. Я стряхнул

се с каски на камни, а она перед самым лицом разорвалась. Поранила мне лицо, щеки, шею, ногу. Кровь горлом пошла. Я бросил свою последнюю гранату и пошел назад, отбиваясь.

Дополз до уступа, вижу — тут двое ребят раненых, один в ногу, другой в спину. Один плачет, говорит: «Перевяжи, если можешь, изойду кровью». Я на него свой бинт истратил. Хотел рубашку рвать, но сперва спросил у них, как у меня у самого: сильно кровь идет? Нет, говорят, подсыхает. Ну, если так, я перевязывать себя не стал, рубашку не порвал.

Один из них от бессилия в лощинке винтовку оставил. Пришлось обратно мне ползти за его винтовкой, потому что какой же он боец без винтовки? Только я вернулся, меня в поясницу осколком мины ударило. И пошли затем немцы бить по всему этому месту.

Что же делать: раз итти, так итти. Один раненый сам пошел, а второго я на плечи взял. А немец опять мину. Я кинулся на лапки, на живот лег, как змея какая-нибудь, и ничего. Раненого же на спине у меня маленько тряхануло. «Ничего, — говорю ему, — держись, Ванька!» (его Ванькой звали). Так и отвел я их до своих — это твердо помню, а

что потом было, хуже помню. Лег и дышать не могу, устал. Вот такие бои у нас были.

Над Муста-Тунтури садилось солнце. Закинув на плечо автомат, Иван Данилов поглядывал на юг. На лице его была написана досада. Этому неугомонному человеку не сиделось на месте. Он бы с удовольствием сегодня же вернулся обратно на Муста-Тунтури и провел бы эту ночь с оружием в руках, в засаде, вместе с только что вернувшимся из госпиталя своим однофамильцем и незнакомым другом Александром Даниловым.

Начинало совсем темнеть. Между скалами Муста-Тунтури, на секунду освещая их зубцы, мерцали короткие минометные вспышки.

В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ

Вечером 6 ноября маленький отряд разведчиков уходил в глубокий тыл врага. Начальник разведки собрал участников в тесной комнатке штаба.

— По последним сведениям немцы здесь, на побережье, совершают перегруппировку. Вы высадитесь ночью и проверите, попрежнему ли их батарея и прикрытия находятся

на Северном мысе. Если их там нет, то уничтожите все, что ими там построено, а если они там есть, то уничтожите все это вместе с ними.

Начальник окинул взглядом присутствующих.

— Эту ночь с шестого на седьмое ноября вам придется провести в тылу врага. Постарайтесь, чтобы она была праздничной для нас и печальной для них.

Разведчики строились во дворе, уже здесь почти невидные в своих белых халатах на фоне снега.

С разрешения начальника в эту праздничную ночь с отрядом в качестве рядового бойца шел и я.

Маленький катер бросало то вверх, то вниз; заливаемый водой, он все же шел полным ходом, чтобы удлинить время разведки, высадив людей на берег точно к наступлению полной темноты.

Командир отряда Люден, бывший кавалерист и веселой души человек, неприязненно поглядывал на всходившую над горизонтом полную луну.

— Вот она, диалектика, — заметил он, показывая на широкий лунный свет, расплывавшийся по волнам, — то, что радовало в мо-

лодости, огорчает в зрелые годы. Луна... Вот уже пятый месяц, как она мой личный враг, а ведь когда-то бывало... Э, да что там вспоминать!

Катер уже шел вдоль вражеского берега. Неделю назад на моих глазах оттуда два часа немцы обстреливали шрапнелью один из наших мотоботов. Но сейчас все было тихо.

Только в стороне, еще дальше на запад, были видны короткие вспышки орудий бившего по берегу эсминца.

Начинался отлив. Катер дошел до гряды подводных камней и ближе подойти не мог. На воду спустили крошечную лодочку с ласковым названием «Тузик» и с катера перекинули на нее трап. Второй трап спустили с «Тузика» прямо в воду. Он все равно не доставал до берега. Тогда двое краснофлотцев из команды катера, не дожидаясь чьего-либо приказания, спрыгнули в ледяную воду. Они стали по пояс в воде, для того чтобы помочь высаживающимся разведчикам.

Разведчикам предстоял поход, они должны были итти в него с сухими ногами, и краснофлотцы одного за другим заботливо, как детей, выносили на берег своих товарищей. Это была дружеская услуга, безмолвная и не претендующая на благодарность, одно из проявлений благородной солдатской дружбы.

Был сильный накат волны, и многим, в том числе и мне, не повезло, мы набрали полные сапоги воды, но от купания по пояс все-таки все были спасены. Безмолвно собравшись на берегу, мы пошли длинной цепочкой. До цели нашего путешествия было отсюда восемь—десять километров по крутым, занесенным снегом и обледеневшим прибрежным скалам. Намокшие в воде полы халатов мгновенно обледенели и, коробясь, тремели и шуршали при движении. Восстанавливая драгоценную для нас тишину, мы на ходу разминали халаты пальцами.

Впереди шла тройка, бывшая здесь уже не один раз. Они шли, вглядываясь в каждую щель, в каждое пятно на снегу, ища следов. Но следов не было — только мелкая заячья пропись да похожие на человеческий след полоски в снегу, там, где по крутому склону скатывались к воде выдры.

Скалы громоздились одна на другую. Издали каждый раз казалось, что здесь не пройти, но подходили ближе и находили какую-то щель, уступ, по которому можно вскарабкаться еще на десять метров выше. Хуже всего были голые, почти отвесные склоны, где снег ровным слоем покрыл скалу. Обдутый ветром, он тверд, как камень, и отчаянно скользок. Достаточно одного неудачного

движения, и человек, скользя по спуску, летел вниз на добрых десять метров.

Шедший впереди меня Люден поскользнулся и мгновенно полетел далеко вниз. Разведчик Храбрин, бросившись ему на помощь, не удержался и полетел еще на пять метров ниже. Когда они наконец выкарабкались, кто-то шопотом заметил:

— Прямо тебе суворовский переход.

Прихрамывавший после падения, но попрежнему не унывавший командир повернулся.

— Запрещаю это слово, — сказал он.

— Почему?

— Потому что сначала надо добиться суворовских результатов, а потом уже говорить о суворовских переходах.

Наконец был дан короткий привал. Легли в снег в тени огромной скалы. Кто-то посмотрел на часы — было ровно двенадцать ночи.

7 ноября...

Да, седьмое, и кто-то шопотом начал вспоминать, как он проводил эту ночь в прошлом году у себя дома, в Днепропетровщине.

Впереди далеко в белом тумане виднелся противоположный берег. Очень далеко мгновенно погасшей синей искрой там мелькнули фары машины.

— Наши ездят, — сказал кто-то.

И в эту минуту всем было очень важно знать, что где-то там, на нашем берегу, на наших машинах ездят наши, свои.

Обледеневшие халаты теперь сослужили нам хорошую службу, они стояли торчком, закрывая нас от продувавшего насквозь ветра.

Едва мы двинулись снова, как шедший впереди Ковалев наткнулся на линию связи.

Этот тонкий провод соединял немецкие передовые позиции со штабом. Подложив камень, провод разрубили кинжалом и, на несколько метров обрезав, затоптали концы в снег. Пусть теперь найдут. На протяжении следующего километра, не поленившись, повторили эту операцию еще три или четыре раза.

Теперь было уже близко, гряда высоких каменных сопок спускалась к далеко выдававшемуся в воду острому мысу. Разделившись на три группы, мы поползли, обходя сопки с трех сторон и постепенно поднимаясь на них. Ночь была светлая, кроме луны, по небу, переливаясь от края до края, проходило северное сияние. И все-таки в тридцати шагах на снегу ползущие люди казались просто заснеженными уступами скал. Даже темные пятна сапог и автоматов не выдавали

нас. Здесь, на этой каменистой почве, они казались кусками камня, выступавшими из-под снега.

Мы поднимались по склону все выше и выше. Теперь, если немцы были здесь, они должны были уже в эту светлую ночь заметить нас. Но все было тихо. Наконец мы доползли до первых землянок. По всем признакам, они были оставлены день или два назад. В землянках висели фонари и лампы, в сложенных из кирпича печках лежали недогоревшие дрова. Ближе к мысу, на скале, высилось несколько построек складского типа. Все двери были наглухо заперты.

Кто-то торопливо попросил «рвануть их гранаткой». Но, избегая преждевременного шума, Люден запретил это. Его помощник Инзарцев, взяв несколько бойцов, прикладами в пятнадцать минут расправился с дверями.

Помещения действительно оказались складами: в них были навалены отруби, мука, завернутые в прозрачную бумагу с немецкими штампами кирпичи пополам с отрубями приготовленного хлеба. Рядом были свалены мешки кофе, цикория, яичного порошка, большие плетеные бутылки со спиртом. В общем склады были наполовину полны.

Недалеко от складов, за прикрытием, была брошена искалеченная горная пушка. Бро-

шенная немецкая пушка — это было еще понятно, но брошенные немецкие склады с провиантом — это было удивительно. Нет, конечно, немцы не совсем ушли отсюда. Они, очевидно, только меняли части, и не сегодня— завтра новая рота должна была притти на этот пустынный участок фронта. Именно для нее был оставлен этот провиант, с великим трудом завезенный сюда по единственной вьючной тропинке.

Да, конечно, это так. Я невольно вспомнил немецкого капитана, на днях взятого нами в плен. Я его видел три дня назад в штабе на допросе. Он сидел грязный, обтрепанный, в тощей шинели и неопрятном белье, его уже сутки кормили нашим сытным пайком, и все-таки он улучил минуту, когда допрашивающий склонился над протоколом, и, воровато вытащив из кармана данный ему в запас сахар, жадно грыз его. Поймав мой взгляд, он вдруг стыдливо заторопился, — ему, офицеру германской армии, видимо, было неудобно, и все-таки он грыз этот сахар, он отъедался. Чувство застарелого голода было сильнее его.

Я невольно вспомнил эту сцену, когда увидел склад с немецким продовольствием. Конечно же, они вернутся сюда. Если бы они ушли совсем, они бы выскребли здесь все до

последней горсти муки, до последнего зернышка кофе.

Люден отдал приказ радисту вызвать по радио отстаивавшийся где-то далеко в море катер. В тишине чуть слышно застучали точки, тире нашего радио.

Склады решено было сжечь. Когда катер по нашему вызову подошел к берегу, все было уже готово к поджогу. Разведчики один за другим взбирались на катер. Дождавшись, когда закончится посадка, мы вчетвером, оставшись последними на берегу, облили бензином доски и ящики, в пирамиду сложенные нами посреди склада, и подожгли.

Спускаясь к берегу, перепрыгивая с камня на камень, мы видели, как сквозь щель дверей проникают пока еще едва заметные, тусклые красные языки огня.

Было еще темно, но дело близилось к рассвету.

Катер тихо отвалил от берега. Мы уже полчаса шли по бурному заливу, когда, наконец, склады разгорелись во-всю.

Неожиданно для нас пожар принял внушительные размеры. Над берегом высился огромный столб огня. Он то падал, то высоко поднимался. Внутри что-то рвалось с большой силой. Очевидно, кроме продовольствия,

где-то в подвалах у немцев находились еще и боеприпасы. Ну что же, тем лучше. Дольше будут помнить эту праздничную ночь.

Мы шли к своим берегам.

Был уже рассвет, когда мы, высадившись с катера, шли через город, изрядно прозябшие, но веселые. Мы хорошо встретили праздник. Его будет чем вспомнить. Праздничная ночь кончалась. У подъездов домов колыхались на ветру родные, знакомые с детства, наши красные флаги. С серпом и молотом.

НА РЫБАЧЬЕМ И СРЕДНЕМ

В политотделе среди захваченных у немцев документов хранится затрепанный номер немецкой газеты. На четвертой странице ее напечатана любопытная история о том, как храбрые горно-егерские части штурмом брали полуострова Средний и Рыбачий.

История эта особенно любопытна потому, что мы сейчас полным ходом идем на маленьком буксире к берегам того самого Рыбачьего полуострова, который на страницах немецких газет еще в июле захвачен горными егерями.

Однако капитан буксирчика, долговязый, спокойный моряк в выцветшей фуфайке, Петруша, как его ласково зовут на буксире, отнюдь не боится попасть в плен к немцам.

Он, к сожалению, не читал «Фелькишер беобахтер», и поэтому о пребывании немцев на Рыбачьем полуострове ему, конечно, ничего не известно.

— Сколько раз хожу, не видел, — говорит он, лениво пожевывая папироску. — Правда, стреляют иногда с того берега, от Пикшуева мыса. Это действительно. Ну, да ведь моя байда, как блоха, — разве в блоху из пушки попадешь.

И правда, буксирчик мало доступен для артиллерии, особенно в такую погоду, как сегодня, когда среди бушующих волн Мотовского залива за пятьдесят метров видна только верхушка его трубы.

Не знаю, откуда произошло название Мотовский залив, но здесь все вполне резонно считают, что не иначе как от слова «мотать», и между собой фамильярно называют его просто «Мотка».

Вся земля кругом причалов, окрестные сопки и ущелья покрыты воронками. День за днем, месяц за месяцем, пытаясь нарушить снабжение защитников Среднего и Рыбачьего, немцы бомбили это побережье. На дне зали-

ва лежат тысячи тонн сброшенного ими металла.

— Если бы собрать все железо, которое они сбросили, чтобы разбомбить этот портовый поселок, то можно было бы выстроить точно такой же металлический, — со спокойным стариковским юмором замечает седой подполковник.

Крайний Север дает себя знать. Всю ночь валит снег. К утру дороги заносит настолько, что до расчистки их тракторами ехать на машине с Рыбачьего на Средний нечего и думать.

— Вы только посмотрите на карту, — говорит комендант. — Куда только судьба может занести одессита! Весь Кольский полуостров — это, можно считать, самый нос материка. Ну, а Рыбачий — это же бородавка на носу. И выходит, что я не кто иной, как комендант бородавки. Да. А вам придется посидеть у меня сутки, раньше дороги не будет. Кстати посмотрите, как нас тут бомбят.

Гинзбург смотрит на часы и направляется к выходу из землянки.

— Обычно как раз в это время попьют утром своего бобового кофе и прилетают.

На высоте пяти тысяч метров, еле видный, действительно крутится самолет.

— Сначала ниже летали, потом сбили несколько из зениток, и теперь ниже трех тысяч не порхают.

Самолет сделал еще несколько кругов и, не пикируя, сбросил полдюжины бомб. Над заливом поднялись водяные столбы.

Самолет повернул на запад.

— Ну, вот нас и «разбомбили», — меланхолически замечает комендант, провожая самолет равнодушным взглядом. — Теперь пойдемте завтракать.

До ночи мы не остались. Снег безнадежно продолжал сыпать, и мы решили переправиться с Рыбачьего на Средний на моторной лодке. Лодку так заливало встречными волнами, что минутами казалось, что она идет не по волнам, а где-то внизу, сквозь них.

Стоя по щиколотку в воде, закутанный в резиновый плащ, рулевой, на всякий случай, держал ближе к берегу. Моторист дежурил у пулемета. От немцев нас отделял только узкий пролив.

Впрочем, встреча в такую ночь, по словам рулевого, была мало вероятна.

— Немец не выйдет в море по такой погоде. Норвежец бы и вышел, да немца не повезет. Не любит он немца.

— Не любит?

— Точно!..

На исходе второго часа, когда вода в лодке дошла как раз до картера мотора, мы, наконец, мокрые до нитки, причалили к берегу Среднего полуострова.

С места в карьер пришлось карабкаться вверх по крутой дороге, а потом и вовсе без дороги, по скользкому, обледеневшему обрыву.

Часовой открыл перед нами невидимую дверь.

Электрический свет, пышущая жаром, сделанная из гофрированного железа трофейная финская печка, стены, потолок и пол из толстых бревен, рабочие столы с настольными лампами под зелеными абажурами, — все говорило, что здесь устроились с необходимыми удобствами и разумным комфортом.

Полковник Васильчиков после трудового дня, уютно примостившись к печке, стакан за стаканом, «по-московски», неспеша пил крепкий чай.

— Как стояли, так и стоим, — сказал он, отчеркивая ногтем на карте полуострова линию, где проходит передний край. — Слева — залив, справа — море, впереди — горы. Как были они в наших руках, так и остались. И отдавать не собираемся. А немцы? Что ж, немцы, конечно, пробуют. Сначала неосторожно пробовали, теперь осторожнее стали. А что

касается подробностей, так вы лучше в боевой журнал посмотрите. Там все записано...

И, считая вопрос исчерпанным, неразговорчивый полковник взялся за пятый стакан.

Причина его неразговорчивости, обычная причина неразговорчивости наших командиров, выяснилась впоследствии.

Рассказывая о боях за полуостров, полковник волей-неволей был бы принужден много говорить о себе.

В первые дни войны немцы, сосредоточив несколько дивизий, прорвались на тридцать километров вдоль побережья по направлению к Мурманску. Узкий перешеек, единственный выход с полуострова на материк, неожиданно оказался закупоренным немцами.

Гарнизон и Рыбачьего и Среднего готовился к обороне с моря. Появление немцев с суши было внезапным.

На перешейке стояло только несколько рот. Обрушив на них целую дивизию, немцы пытались одним ударом с гор спуститься на перешеек и, пройдя его узкое горло, разлиться по всему полуострову.

В эту критическую минуту на полуострове нашлась твердая рука и железная воля Васильчикова.

Полковник приказал в кратчайший срок выдвинуть вперед к перешейку тяжелые берего-

вые батареи, а сам тем временем, собрав все, что оказалось под рукой, выехал на передовые.

Он не остановился перед тем, чтоб своей рукой на месте расстрелять труса, повернул отступившие роты и бросил их в контратаку.

Тем временем подвезли пулеметы и орудия. Установив их на ближайших сопках, удалось их огнем задержать немцев. К вечеру заговорили подтянутые на новые позиции наши тяжелые орудия. Они поставили перед наступавшей немецкой дивизией стену огня, и на следующий день положение было восстановлено. Ни одного живого немца не осталось на перешейке. Только на скатах хребта, там, где вчера немецкие батальоны густым строем шли в «психическую атаку», вповалку лежали груды трупов, скошенных пулеметным и артиллерийским огнем.

И с этого дня ни один немецкий сапог уже не ступал на скалистую почву Среднего и Рыбачьего полуостровов.

Месяц за месяцем делали они попытки прорваться, шли жестокие бои за прилегающие к перешейку командные высоты на материке. Но прорваться к перешейку немцам так и не удалось.

Мы день за днем объезжали оба полуострова.

Дороги здесь особенные, их не строят, а обнажают. Снимают неровности, дерн, валуны и обнажают скалу, ровняют камень и гальку. Часто дороги в то же время поневоле служат стоком для горной воды. Вода, пробиваясь сквозь лед, бежит под полозьями саней. Телеграфные столбы, чтобы их не вырвало здешними свирепыми ветрами, до половины человеческого роста обложены пирамидами из камней.

Землянки, убежища, командные пункты — все построено прочно, надолго, с тяжелыми накатами бревен, с перекрытиями из двухтаврового железа.

Беспрерывный полярный день с его короткими белыми сумерками все лето не давал ни минуты покоя, сна, передышки. Все укрепления возводили на глазах врага, под пулями.

Когда эти работы были закончены, саперы взялись за дороги и постройку госпиталя.

Через месяц под землей вырос, а верней сказать — в землю врос, целый медицинский городок. Палаты на сто двадцать коек, приемный покой, операционная, кабинеты врачей. На полуострове создался подземный госпиталь особого типа — и полевой и в то же время тыловой.

Здесь не оставляли только тех, кому предстояло лежать более полутора месяца.

А всех тех, кто хоть через полтора месяца мог стать снова в строй, лечили здесь же, на полуострове, не отправляя на материк.

На полуострове все вросло в землю: землянки, медпункты, гаражи, конюшни, склады — все стало подземным.

Можно ехать километр за километром среди расположения войск и не видеть ничего, кроме снега и торчащих из-под него красноватых скал.

Замаскированные в скалах западного побережья полуострова береговые батареи топят немецкие транспорты, идущие по единственному пути из Киркенеса в Петсамо.

По вспышкам нащупав примерное расположение батарей, немцы несколько раз пытались провести свои транспорты под прикрытием бомбежек.

Как только транспорты, крадучись вдоль берега, подходили к Петсамскому заливу, начиналась бомбежка батарей.

Но артиллеристы ухитрялись все-таки давать залпы по кораблям, выскакивая из укрытий к своим орудиям, в короткие интервалы между двумя заходами бомбардировщиков.

Потеряв так еще один транспорт, немцы стали бомбить беспрерывно, заходя и пикируя по очереди, по одному самолету. Тогда артиллеристы стали уходить в укрытие тоже по

очереди. Один орудийный расчет во время бомбежки оставался и продолжал стрельбу по транспортам.

Большие хлопоты причиняют немцам тяжелые батареи, бьющие по подступам к перешейку.

На гребне покрытых снегом скал, куда нам добрых два часа пришлось добираться чуть не ползком, бессменно, денно и нощно сидит на своем наблюдательном пункте командир Скробов.

Это место похоже на орлиное гнездо, и на больших белых птиц похожи наблюдатели Скробова, неподвижно припавшие в своих широких белых халатах к гребню скалы.

Постоянный, непрерывный, бешеный, режущий ветер. Здесь, на вершине, он дует минуту, час, день, неделю, месяц, год. Он дует всегда. У наблюдателей — потрескавшиеся от ветра губы и красные, воспаленные глаза. Но зато отсюда, с этой открытой всем четырем ветрам скалы, видны все дороги и тропки, ведущие к перешейку.

Сам Скробов, большой, молчаливый, редко улыбающийся человек, «научный работник», как его шутя называют в штабе, действительно ведет свою работу с научной точностью.

Все пристреляно: каждый квадрат, каждый выступ, каждая лощинка, тропа.

Провода идут вперед, на второй наблюдательный пункт — он всего в пятистах метрах от немцев. Впрочем, однажды, когда это было нужно, он был не в пятистах метрах от немцев, а в пятистах метрах за немцами. Артиллерист-лейтенант Лоскутов с радиопередатчиком прополз в тыл к немцам и трое суток корректировал огонь оттуда.

У Скробова все подсчитано, отмечено, записано. Здесь, в крохотной, врубленной в скалы землянке, он, недавний красноармеец, экстерном окончивший школу средних командиров, человек с упрямым ртом и острыми глазами самородка, ухитряется вести сложную артиллерийскую документацию во всей ее красоте и аккуратности, почти как на выпускных испытаниях в школе.

Зато и документация потерь, нанесенных немцам, оставляет внушительное впечатление. Артиллеристы уничтожили за небольшой отрезок времени семь орудий, семнадцать минометов, двадцать три станковых пулемета, сорок шесть машин, пять командных пунктов, два самолета и тысячу сто человек живой силы врага!

Кстати, один из этих самолетов — «летающую лодку» — артиллеристы расстреляли за двенадцать километров, когда она, ничего не

подозревая, спокойно села на воду у своего берега.

Над полуостровом ревет ноябрьская вьюга. Теперь снег и ветры зарядили до самого мая. Снегом заметает входы в блиндажи, по утрам их откапывают. Еще неделя — и дома вместе с крышами и трубами уйдут под снег. День и ночь, под вой пурги, на склонах хребта, отделяющего перешеек от материка, идет кровавая упорная борьба передовых отрядов. По ночам туда, карабкаясь по скалам, в термосах на спине подносят горячую пищу. Ветер, ветер и еще раз ветер. В землянке, включив радио и ничего не слыша, кроме свиста и воя, шутят:

— Опять идет трансляция с аэродрома.

Всю ночь дуют ветры из Норвегии. От Норвегии до Рыбачьего — шестьдесят миль. От нас до Норвегии — столько же.

Рассказы

В СКАЛАХ НОРВЕГИИ

— Я приму на кортик первого, а ты принимай второго, — сказал командир и прижался к стене рядом со мной.

Когда скрипнула дверь и в нее вошел высокий рыжий немец, держа перед собою ружье, командир нагнулся, широко расставил ноги и, схватившись рукой за вбитую в стену железную скобу для упора, принял его на свой кортик...

Эрик Христиансен замолчал и глубоко затянулся махоркой из маленькой черной трубки. Он давно не курил и теперь то и дело набивал замерзшими, непослушными пальцами трубку, чиркал спичку за спичкой и закуривал. Он сидел у круглой железной печки в землянке на Рыбачьем полуострове, ему было тепло, на

нем была моя фуфайка и штаны артиллерийского капитана, а его собственное, еще мокрое от соленой воды, платье, шипя, сушилось над печкой.

Христиансен был высокий, худощавый, белобрысый человек с красным, обветренным и обмороженным лицом, узловатыми руками, которые могли грести сорок восемь часов подряд, и легкими длинными ногами, исходившими вдоль и поперек все побережье от Киркенеса до Нарвика.

В эту ночь он, вместе со школьным учителем Иориком Свенсеном, переплыл бурное Баренцово море, в пятибалльный шторм, на утлой лодке — то под парусом, то на веслах — шестьдесят миль, отделяющих Рыбачий от северного побережья Норвегии.

Он хорошо говорил по-русски, потому что тридцать девять лет тому назад родился здесь, на Рыбачьем, и немало рыбы переловил вместе с русскими поморами. И все-таки, даже вставляя в свою речь старые поморские словечки, он говорил, как иностранец, потому что был норвежцем, с пятнадцати лет жил в Тронгейме, Варде-фиорде и многих других хороших местах, куда теперь мог вернуться, только рискуя быть повешенным на первом дереве.

Он приплыл сегодня ночью, он оброс бородой и сильно замерз, но ему хотелось ско-

рее рассказать обо всем, что он видел за эти последние месяцы холодных скитаний по скалам норвежского побережья.

— Командир принял немца на кортик, — продолжал он, затянувшись трубкой, — но командир был ранен в ногу около Варде-фиорда, еще в октябре, и он поскользнулся на раненую ногу и упал на одно колено. Тогда я перегнулся через него и принял на кортик второго немца. Потом мы втащили обоих внутрь, захлопнули дверь и заперли ее на щеколду. Дверь была большая, толстая, обитая железом, и ее не скоро можно было открыть.

Мы обошли дом изнутри и все четверо собрались в кухне. Мы хорошо видели, как вслед за первыми двумя, которые тихо умерли, войдя в этот дом, из большой крытой машины вылезли еще восемнадцать солдат, а двое остались в машине: офицер и шофер...

В эту минуту мы пожалели, что нас только четверо и что с нами нет Кнута Ларсена, потому что он один стоил бы еще четверых, а если бы нас было восемь, мы убили бы всех этих немцев.

Я забыл рассказать вам о Кнуте Ларсене. Он погиб за три дня до того, как мы попали в этот домик на берегу моря. Кнут Ларсен был рыбак из Тронгейма, и командир любил

его больше всех нас, потому что он заслуживал этого. Он погиб в субботу. Да, да, в субботу. Это было утром в деревне Хельпао, в трех милях от Киркенеса. Там жил лесник Скулле. Мы часто заходили к нему, потому что мы ему верили, и еще потому, что нам тоже надо было погреться. Нынешняя осень очень холодная, и мы не могли все время прятаться в своем шалаше. Кнут Ларсен пошел к Скулле в субботу. Туда должны были притти двое из Киркенеса и рассказать, что говорят в городе и скоро ли туда придет большой пароход с солдатами, о котором нам писали из Тронгейма.

Эти двое пришли во-время, и они сидели втроем с Кнутом Ларсеном за столом, и рядом с ними сидел Скулле. Они ели сушеную рыбу и пили пиво: Скулле достал им пива. А потом они попросили Скулле выйти, потому что они ему верили, но ему не нужно было знать все, что знали они. И Скулле вышел. Они сидели еще полчаса, а потом, когда они уже совсем собрались уходить, Кнуту Ларсену показалось, что кто-то ходит под окном. Но окно замерзло и в него ничего не было видно. Тогда Кнут Ларсен, — он всегда любил все видеть сам, — приотворил дверь и выглянул на улицу.

Вокруг дома стояли немецкие солдаты. Они стояли спокойно со своими винтовками и смея-

лись, потому что они знали, что окружили дом и что все равно никому из него не уйти.

Но Кнут Ларсен считал, что это не так. Он крикнул двоим, пришедшим из Киркенеса, чтобы они бежали за ним. И сам, стреляя из револьвера, бросился мимо немецких солдат. Те уже не улыбались, — они подняли свои винтовки и начали стрелять. Один из них стал на дороге Ларсена, но Ларсен ударил его ножом в грудь и побежал дальше. Они уже добежали втроем до первых скал, и им оставалось всего четверть минуты, чтобы скрыться из глаз, — но как раз в это время пуля попала Ларсену в спину. Он упал на снег и крикнул тем двоим из Киркенеса: «Бегите!» И те побежали дальше, потому что если б убили и их, то никто ничего не мог бы рассказать нам о пароходе с солдатами, который шел из Тронгейма.

Но Ларсен был сильный человек, — он приподнялся и сел, и, опершись обеими руками на снег, повернулся лицом к солдатам, которые бежали к нему. Они уже не стреляли, потому что думали, что возьмут его живым. Но Ларсен не хотел, чтобы его взяли живым; у него была граната, но ему трудно было достать ее, потому что сидеть он мог, только опираясь обеими руками на снег. Он стиснул зубы, нагнулся влево и на секунду оперся на

одну левую руку, а правой достал гранату. Она была заряжена, — ему надо было только встряхнуть ее. Он снова оперся на обе руки, но теперь уже одна рука его была с гранатой. Он ждал, когда солдаты подойдут ближе, и когда они были совсем близко, он, опять на одну секунду опершись на левую руку, оторвал от земли правую и, встряхнув гранату и не выпуская ее из руки, ударил об лед.

Двое из Киркенеса видели, как погиб Ларсен, они слышали, как кричали раненые солдаты, — и мы узнали, что Ларсен погиб, но еще мы узнали и то, что большой пароход из Тронгейма никогда не придет в Киркенес...

И теперь в домике на берегу моря с нами не было Ларсена, и поэтому нас было только четверо, и мы решили, что нас все равно здесь сожгут, если мы останемся в доме, — и мы вышли навстречу немцам, когда они подошли к домику. Но мы вышли не сразу. Револьверы были только у двоих; у меня и у командира были кортики. И тогда командир сказал, чтобы двое с револьверами вышли первыми и стали за каменную стену, и стреляли, пока их не убьют. А когда их убьют, то немцы подумают, что в доме тихо и никого больше нет, и они войдут в открытую дверь, а мы с командиром будем стоять за дверью и примем еще раз на кортики по одному немцу, а если нам

посчастливится, то и по два. И командир еще раз пожалел, что с нами нет Кнута Ларсена.

Двое с револьверами вышли и стали за каменной стеной. Солдаты увидели их почти сразу. Но их было много, и они не очень боялись. Они шли, стреляя из ружей, а наши стреляли из револьверов, и трое солдат упало, не дойдя до стены. Тут мы перестали смотреть и спрятались за дверью, чтобы нас не было видно.

А за стеной еще стреляли, и мы стояли с кортиками наготове. Но вдруг командир сказал мне:

— Христиансен, я один останусь тут — и не возражай мне, потому что я тебя убью, если ты будешь зозражать мне. Я вспомнил, что там, у фиорда, нас ждут Иорик Свенсен, и Матиссен, и еще двое. И если солдаты убьют нас всех, то потом они пойдут и убьют и их, там, у фиорда, потому что если предали нас, то, значит, предали и их. Беги, Христиансен, я тебе приказываю. Только дай мне кортик.

И я дал ему кортик, а он отдал мне свой и сказал:

— Если увидишь когда-нибудь мою дочь, отдай ей этот кортик; она хорошая девочка. А теперь беги.

И я ушел от командира и стал думать, как мне бежать. Я вышел с другой стороны до-

ма, и пополз вдоль стены, и выполз из ворот, и опять пополз вдоль стены, а потом побежал по снегу.

Я не видел, что происходило с той стороны, за домом, но там еще стреляли, и в первую минуту, когда я побежал по снегу, меня не заметили. Но потом меня увидали, — не солдаты, которые были у дома, а офицер и шофер, оставшиеся в машине. Я повернулся и хорошо видел, как офицер, положив ружье на крыло машины, стреляет в меня. Он выстрелил много раз подряд, но я только потом, когда добрался до моря, заметил, что одна пуля попала мне в бок, пробила кожу и застряла в фуфайке. Всю ночь я шел вдоль берега моря и только утром дошел до поселка на берегу, где меня ждали Иорик Свенсен и остальные.

Я рассказал им все, что случилось, и мы пошли дальше, в одну хижину на берегу моря, в которой никто не жил уже три года и бывали только мы.

Иорик Свенсен ждал командира, чтобы решить, как быть со Скулле. Накануне пришли рыбаки из деревни Хельпао и рассказали, что это Скулле выдал Кнута Ларсена, что он ходил в Киркенес и принес оттуда мешок муки, которая была только у немецкого коменданта и которую он не мог бы достать ни у одного

норвежца, потому что у норвежцев ее уже давно всю взяли.

Но командира не было, и мы решили сами,— потому что что́ же тут решать. Мы разделились, и двое из нас пошли в Хельпао, чтобы убить Скулле.

А мы остались—я, Иорик Свенсен и Матиссен, — потому что нам некуда было итти, пока мы не связались с остальными. У нас была маленькая лодка, на которой не стоило выходить в море в такую погоду, но мы все-таки на всякий случай положили в нее боченок с пресной водой, и если б могли, то положили бы и запас еды, но еды у нас не было. Ночью к нам пришел рыбак из поселка и сказал, что они были около того дома, где мы дрались с солдатами, и видели, как немцы похоронили там пять солдат и поставили над их могилами кресты с касками. Немцы долго возились, потому что там кругом один камень и им пришлось царапать его штыками. А когда они пошли было в деревню, то все мужчины ушли из деревни, потому что никто не хотел помогать им закапывать солдат. Но когда немцы уехали, жители деревни пришли и закопали двоих наших, которые лежали там.

— Двоих? — спросил я у рыбака.

— Да, двоих, — сказал он.

И я понял, что третий спасся.

— Какие они из себя? — спросил я, желая узнать, погиб ли командир.

— Они совсем обросли бородами, — сказал рыбак.

Но мы все обросли бородами, бродя три недели в лесах, и потому я не мог узнать командира, а рыбак тоже не знал его, потому что командир был издалека — из Тронгейма.

— Но какие же они все-таки были? — опять спросил я.

И рыбак вспомнил, что один из них был с густой бородой и лысый.

Так мы узнали, что наш командир умер.

— А еще, — сказал рыбак, — меня прислали сказать, что немцы оцепили всю округу от Хельпао до моря и идут сюда со всех сторон, потому что они ищут вас.

Мы на минуту присели и стали думать. Нам очень хотелось курить, но табаку в Норвегии нет уже полгода.

Тогда мы спросили рыбака, нет ли у него чего поесть для нас. И он порылся в карманах и вынул два куска сушеной трески. Мы взяли их у него и решили, что если нам придется плыть, то на один день у нас все-таки есть еда. У нас не было никакого оружия, кроме двух ножей, топора и моего кортика. И мы знали, что если сюда придут немцы, то нам нечем будет отбиваться от них.

Но море было тоже похоже на смерть, и в него можно было выйти, только выбирая между двумя смертями.

Так мы ждали до утра, а на рассвете на берегу с двух сторон показались солдаты. Они шли, осторожно прячась за камнями. Они не знали, что мы не можем в них выстрелить. Тогда мы спустились к воде и сели в лодку. Пока лодка была у самого берега, солдаты не видели нас, но когда мы немного отошли, они увидели, легли между камнями и стали стрелять.

Но на море был такой ветер, что, кажется, он относил от нас пули. Только одна попала Матиссену в плечо; но он промолчал и сказал нам об этом, только когда мы вышли в открытое море. Это море должно было стать для нас могилой, — но мы не хотели, чтобы солдаты издевались над нашими телами, а море для рыбака — это тоже хорошая могила.

Мы ставили парус и спускали его, и гребли, и снова ставили парус. На вторые сутки ударила большая волна и сбила Матиссена в воду. Он потонул, прежде чем мы успели протянуть ему руку, потому что он совсем ослабел от своей раны.

А на третий день мы пристали сюда вдвоем с Иориком Свенсеном. И вы видите, что делается с моими руками: на них совсем нет

кожи, а ведь я умею грести. И это не от непривычки.

Эрик Христиансен со вздохом посмотрел на свои руки, которым долго не придется грести и натягивать паруса, и потом, толкнув ничком лежавшего рядом с ним на койке Иорика Свенсена, сказал ему что-то по-норвежски.

Иорик Свенсен приподнялся и сел рядом с ним. Это был маленький старик с темным, дубленым от ветра лицом и простыми железными очками на носу, — такими, какие и у нас носят старые школьные учителя.

— Если бы не Иорик Свенсен, мы бы не доплыли, — сказал Христиансен. — Свенсен не моряк, он старый школьный учитель, но, когда мне хотелось бросить весла и опустить руки, он говорил мне: «Держись, мой мальчик, мы доплывем». Он говорил со мной, как с ребенком, а ведь он умеет говорить с детьми. Два поколения норвежцев учились у него в школе и, славу богу, стали хорошими людьми, которые еще постоят за свою свободу.

Мы невольно еще раз внимательно посмотрели на учителя. Старик сидел неподвижно, обхватив колени руками; у него были ясные голубые глаза и много морщин, и, если б не эти глаза, его трудно было бы представить себе молодым. Но если смотреть только в его гла-

за, то нельзя было представить его себе старым.

Заметив наши взгляды, Христиансен тоже посмотрел на старика.

— Когда немецкие солдаты пришли к нам,— сказал он, — Свенсен был в отпуску в Осло, и он нам рассказывал потом, как все это там началось. Немецкий консул был большим охотником и всегда ездил с нашим королем на охоту в прибрежные леса. А в тот день, когда пришли солдаты и королю пришлось бежать к побережью, консул тотчас надел полковничий мундир и, зная все дороги и тропинки, по которым мог ехать король, погнался за ним впереди немецких солдат. Но говорят, что около одного охотничьего домика консула подстерег старый егерь и застрелил его из ружья, заряженного волчьей дробью. Я не знаю, но, наверно, это правда, потому что нам об этом рассказывал Иорик Свенсен. А он всю жизнь говорил только правду и детям и взрослым.

Старик сидел неподвижно, наклонив голову и словно прислушиваясь к разговору. Голова его немножко дрожала; казалось, что он все время одобрительно кивает.

— Это у него после Нарвика, — сказал Христиансен. — Он был добровольцем в Нар-

вике, — его там два раза ранило в голову. Вы не думайте, что он очень старый. Это не от старости, а от раны. Он хорошо стреляет, и если итти пешком по скалам, то он обгонит меня.

Христиансен помолчал и добавил:

— Когда мы вернемся домой, он у нас будет командиром. Я решил это здесь, а те, кто остался там, решили это там. Да, я уверен, что они так и решили. Впрочем, они думают, что мы утонули: море было, по правде сказать, очень плохое...

Мы вышли из землянки. Христиансен стоял против ветра, подставляя ему свою широкую грудь в толстой фуфайке. С запада, со стороны Норвегии, поднималось северное сияние; оно перебегало по всему небу огромным светлым мостом, как бы соединяя этих двух стоящих на нашем берегу одиноких людей с их родиной, такой близкой и далекой, скрытой сейчас за высокими серыми валами зимнего моря.

ТРЕТИЙ АДЪЮТАНТ

Комиссар считал, что смелых убивают реже, чем трусов. Это было его твердое убеждение. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его с собой в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Если приходилось итти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним.

Если человек выдерживал испытание, то вечером комиссар знакомился с ним еще раз.

— Как фамилия? — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом.

Удивленный командир снова называл свою фамилию.

— А моя — Корнев, — говорил тогда комиссар, протягивая руку. — Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы.

В первую же неделю по прибытии в дивизию у него убили двух адъютантов.

Первый струсил и в тяжелую минуту вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет.

Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы.

Второй адъютант был ранен навылет в грудь во время атаки. Последнее осеннее солнце резало глаза. Было холодно и нестерпимо сухо. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди, за бруствером, лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга.

Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная. Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой.

Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять только тогда, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся.

Ему стреляли в спину. Во флягу попала пуля. Он зажал дырку пальцами и пошел дальше, теперь неся флягу в вытянутых руках.

Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов.

— Напоите!

— А вдруг бы дошли, а она — пустая?.. — заинтересованно спросил кто-то.

— А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную! — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар.

Он часто делал вещи, которые, вообще говоря, комиссар дивизии делать был не обязан. Но вспоминал об этом всегда только потом, уже сделав. Тогда он сердился и на себя, и на тех, кто напоминал ему о его поступке.

Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя.

Через пятнадцать минут он неожиданно окликнул командира батальона:

— Ну, отправили в санбат?

— Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать дотемна.

— Дотемна он умрет. — И комиссар отвернулся, считая разговор оконченным.

Через пять минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю.

Может быть, это было безрассудно, но, когда командир батальона спросил: «Кто понесет?», люди, видевшие, как комиссар ходил

за флягой, сказали: «Я!» Они не могли этого не сказать, видеть и не сказать.

А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя и для других. Люди умирают — на то и война. Но храбрые умирают реже.

Красноармейцы шли смело, не падая, не забывая, что они несут раненого, и именно поэтому он верил, что они дойдут.

Ночью, по дороге в штаб, комиссар заехал в санбат.

— Ну, как, поправляется, вылечили? — спросил он хирурга со своей обычной торопливостью. Ему, по его характеру, казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро: доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых.

И когда хирург ответил ему, что его адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.

— Вы понимаете, что вы говорите?—тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и близко придвинув к себе. — Люди под огнем несли его две версты, чтобы он выжил, а вы говорите — умер. Зачем же они его несли?

О том, что люди, кроме того, ходили под огнем за водой, он промолчал. Промолчал не из скромности, а просто потому, что уже успел забыть об этом.

Хирург пожал плечами.

— И потом, — заметив это движение, добавил комиссар, — он ведь был смелый парень, он должен был выжить. Да, да, должен! — сердито повторил он. — Плохо работаете.

И, не простившись, пошел к машине. Синие пятна фар скользнули по черным стволам кипарисов. Машина свернула влево и скрылась.

Хирург смотрел вслед. Конечно, комиссар был не прав. Может быть, даже, логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки было в его словах, в сердитом и грустном голосе что-то такое сильное и убеждающее, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это потому, что он плохо работает.

— Ерунда! — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.

Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как двое красноармейцев несут раненого по бесконечному кочковатому полю.

— Михаил Львович, — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном, своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить, — надо будет утром вынести дальше, вперед, еще два перевязочных пункта с врачами...

Комиссар добрался до штаба только к рассвету. За окнами шел мелкий дождь со снежной крупой. Начиналась осенняя непогода. Комиссар был не в духе и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. Впрочем, это он делал не просто так, в этом были свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И, ругая его, он никогда не ругал человека за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал многое, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают, — это было его глубокое убеждение. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно главное, а об остальном тот догадывался бы сам. Именно таким образом он добивался, чтобы в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Он не мог быть все время с каждым. Но, побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания.

Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны

бестактностью, но ничего, ничего: пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы вспоминать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока — смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И он, должно быть, оттого, что, несмотря на эти рассуждения, ему было все-таки грустно, как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового.

Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт.

Когда в первый же день знакомства ему пришлось итти рядом с комиссаром вперед, в батальон, по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не отставал от комиссара. Он шел вплотную, рядом, потому что таков был, по его понятиям, долг адъютанта и еще потому, что этот большой, грузный человек с его

неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Казалось, что если итти совсем рядом с ним, то ничего не может случиться.

Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться.

Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше.

— Вперед, вперед, — говорил он ворчливо, — нечего нам тут дожидаться.

Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади.

Комиссар встал, отряхиваясь от земли.

— Вот видите, — сказал он на ходу, показывая на маленькую воронку сзади, — если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрей вперед итти — тогда ни за что не попадет.

— Ну, а если бы мы еще быстрей шли, так... — и адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую вперед них.

— Ничего подобного, — сказал комиссар.— Они же по нас сюда били, это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили, и опять был бы недолет.

Адъютант невольно улыбнулся: комиссар, конечно, шутил! Но вдруг он увидел, что лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вдруг вера в этого человека, вера, возникающая у нас на войне мгновенно, вдруг, и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние сто шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть в локоть; теперь он окончательно знал, что ни этого человека, ни того, кто идет рядом с ним, убить нельзя.

Так состоялось их первое знакомство.

Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то снова становились вязкими и непроходимыми. На виноградниках ржавел и гнил неубранный виноград. Опустевшие поля были изрыты окопами.

Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои.

Была темная осенняя ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои мокрые, забрызганные грязью сапоги.

Сегодня утром был тяжело, очевидно, смертельно, ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил

по столу пальцами. То, что он мог делать, доставляло ему удовольствие: пальцы снова начинали его слушаться.

— Ну, хорошо, упрямый вы человек, — продолжал он прерванный, видимо, разговор. — Ну, пусть Холодилина убили потому, что он боялся, но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?

— Не был, а есть. И он выживет, — сказал комиссар и по своей вечной привычке отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.

Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов:

— Ну, он выживет. Но ведь Миронов не выжил, и Заводчиков не выжил, и Гавриленко не выжил. Они умерли, а ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?

— У меня нет теорий, — резко сказал комиссар. — Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых.

Вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией — воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, хорошая теория. А все остальные — плохие. Между прочим, мне она тоже помогает не бояться, — вдруг улыбнулся комиссар. — Ведь, между нами говоря, как хотите, а иногда и нам с вами страшно бывает.

В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда он только что вернулся, все в порядке, только ранен командир роты — старший лейтенант Поляков.

— Кто вместо него? — спросил комиссар.

— Лейтенант Васильев из третьего взвода.

— А кто же в третьем взводе?

— Какой-то сержант.

Комиссар на минуту задумался.

— Сильно замерзли? — спросил он адъютанта.

— По правде говоря, сильно.

— Выпейте, — комиссар налил из чайника полстакана водки, и адъютант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.

— А теперь поезжайте обратно, — сказал

комиссар. — Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте!

Адъютант встал. Он застегивал крючки шинели тем особым медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, он больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть за притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.

— Хороший парень, — сказал комиссар, проводив его глазами, — вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы, а они верят — что я. А это самое главное. Верно, полковник?

Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.

— Да, — сказал он. — И вообще я не верю, что кто-то умирает. Мне всегда кажется, что где-то есть кто-то другой, который придет на место мертвого и будет не хуже его, и поэтому я верю, что мы победим, потому что раз действительно так, то иначе не может быть.

В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел за-

брать обратно всю большую, начерченную на ней, оскверненную врагом землю.

Утром комиссар сам выехал на полуостров. Он переправлялся туда через лиман на утлой лодке. Дул северный ветер, и седые барашки с треском колотились о днище.

Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовой третий взвод весь, до последнего человека.

Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками, гремучий песок был изрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули.

Передав кому-то уже ненужную винтовку с окровавленным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы третьего взвода. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не

выдержал и струсил, валялись на открытом поле, в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Они лежали, упав, раскинув руки, лицом на восток, спиной к врагу. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Для него и после смерти эти люди все равно делились на трусов и храбрых. В позе мертвого он угадывал, как тот вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не примиряла его с мертвым трусом. Он не мог простить трусости и после смерти. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти они, как и при жизни, будут отделены друг от друга.

Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен, он должен был быть где-то здесь, среди погибших.

Наконец сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди, на гимнастерке, запеклась кровь.

Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из бывших рядом командиров,

приказал приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана, пулевая или штыковая.

Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех замотанные бинты. Его сердили не столько рана и боль, сколько самый факт, что он был ранен, — он, которого считали в дивизии неуязвимым, он, веря в неуязвимость которого, люди легче и безбоязненней шли в бой. Рана была некстати, ее скорее надо было залечить и забыть.

Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье.

— Штыковая, — сказал он, подняв голову к комиссару, и снова согнулся над адъютантом. Согнулся и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу.

Когда он поднялся, лицо его было удивленным.

— Еще дышит, — сказал он.

— Дышит?

Комиссар ничем не выдал своего волнения. Он еще не знал, надо ли волноваться за этого оказавшегося живым человека. Он лежал здесь, далеко позади окопов, он наверно,

бежал. И все-таки — нет, не может быть. Он очень редко ошибался в людях.

— Двое, сюда, — вдруг резко приказал он. — На руки и быстрей до перевязочного пункта. Может быть, выживет.

И, повернувшись, он пошел дальше по полю.

Выживет или нет? Этот вопрос у него путался с другим: как он себя вел в бою, почему оказался сзади всех, в поле? И невольно оба вопроса связывались в одно: если все хорошо, если вел себя храбро — значит, выживет, непременно выживет.

И, должно быть, поэтому, когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый, голубоглазый и похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил его, а только молча протянул для пожатья левую, здоровую, руку.

— А я ведь так тогда и не дошел до третьего взвода, — после первых слов приветствия сказал адъютант, — застрял на переправе, еще сто шагов оставалось, когда...

— Знаю, — прервал его комиссар; — все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили.

Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны

был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою все еще перевязанную руку, грустно сказал:

— А у нас с полковником уже годы не те. Второй месяц заживает. А у него третий. Так и правим дивизией — двумя руками. Он правой, а я — левой. Хотя, впрочем, что ж, — ничего, говорят, получается...

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

Юг

У берегов Румынии 5
Завоеватели в плену 12
Смерть за смерть 22
Шпионка 28
Последняя ночь 34
Предатель 43

Запад

Части прикрытия 52
Дорога на запад 61
Июнь — декабрь 73

Север

Общий язык 91
Дальние разведчики 99
Человек, вернувшийся оттуда 108
Дерзание 118
Истребитель истребителей 123
По дороге на Петсамо 131
Однофамильцы 142
В праздничную ночь 155
На Рыбачьем и Среднем 164

Рассказы

В скалах Норвегии 176
Третий адъютант 190